

ВОКРУГ СВЕТА

11 1968
НОЯБРЬ

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ ВСТРЕЧАЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД 51-ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

1968

ВОКРУГ СВЕТА

№ 11
НОЯБРЬ

Журнал основан в 1861 году

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ
ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ

На страницах номера





ЛЕТО ОБЫКНОВЕННЫХ РЕЙСОВ

В. КОНСТАНТИНОВ

Фото автора

Наш гидросамолет — все тот же АН-2, только теперь на поплавках, больших, как лодки, — неторопливо рассекал воздушный океан.

По всему маршруту от Хатанги до озера Таймыр, как и предсказали синоптики, стоял штиль. Ни дуновения нельзя было заметить у земли.

Забрав на одном из островов полтонны свежей, еще мокрой рыбы — таймырского омуля, муксуна, чира, — мы возвращались обратно. Блеклые глаза бесчисленных озер бездумно отражали небо; иногда — желтое брюхо нашего корабля. На их глади без конца возникали круги, будто туда падали крупные капли грибного дождя. Но дождя не было и быть не могло — грозовая облачность застряла где-то над горами Бырранга, словно не решаясь при солнце свалиться на Таймыр.

Круги делали рыбы, склевывали с поверхности комаров или просто резвились.

В одном из озер мы увидели,

как блеснул бок большой рыбы. Такой большой, что мы не поверили своим глазам, переглянулись и взглянули сразу на высотомер. Там стояло триста метров, и трудно было представить, какой же она величины, эта рыба, потому что получалось вроде как с человеческий рост.

Рыба еще несколько раз показывала белую бочину, как будто она билась там с кем-то или озеро было ей тесно, и мы смотрели, пока озерко это не уехало под плоскость.

Хатанга ежечасно сообщала: «Ясно. Штиль». Давление словно умерло: не падало и не росло. Такая погода здесь не редкость. Даже зимой, когда «штормуют» все авиапорты на берегу океана, в Хатанге — штиль, за что ее и любят полярные летчики.

Нам оставалось совсем немного, уже кончилась тундра, пошел лесок. За пятнадцать минут до подхода передали: «Шторм. Ветер до двадцати метров в секунду».

Вот это здорово! Наш командир только начал летать на поплавках. Машину-то он посадил, но у плота растерялся. Растерялись люди, встречавшие самолет. Только на мгновение ветер прижал, приткнул машину к плоту, и поплавок проломился. Легко, как скорлупа яйца, из которого выдули всю жидкость.

Через час опять стоял полный штиль.

Как какую-нибудь рыбацкую фелюгу, самолет выволокли на отмель, и авиатехники, загорелые и просмоленные ветром, покуривая, принялись за дело. Неторопливо. Будто комары, тучей облепившие их, были им совсем нипочем.

Командир каждый день приходил и спрашивал:

— Не скоро еще?

— Денька через два, — отвечали техники, — и будет как новый.

— Да ты бы полетал пока на колесах, — говорили командиру те, кто давно его знал.

Возможность такая была, машины на колесах простаивали. Сразу три экипажа застряли из-за непогоды в пути, и теперь до их прибытия отменялись все местные рейсы. Но командир отшучивался:

— Перепутаешь еще да вместо бетонки зайдешь на речку.

Дело здесь было в другом. Он был опытный летчик, — «пенсионер» по налету, — и знал, что говорил, отказываясь от полетов на колесах.

Посадки на тундру, превратившуюся в болото, сложны и опасны. Не ту площадку подберешь, увязнут шасси, и машина вскинет кверху хвост, скапотирует. Тут уж не только мастерство нужно, но и опыт. Систематически тренированный глаз, а не расхоложенный, как у него, сравнительно простыми посадками на акваторию, где садись хоть вдоль, хоть поперек, лишь бы не наехать на какое-нибудь бревно, спрятавшееся в волнах.

Неприятности, как давно замечено, идут чередой. Едва наш самолет оказался на плаву, заштормил Таймыр. Озеро бушевало, как океан, несколько дней. «Волна до пяти баллов», — сообщалось оттуда в метеосводках. Мы ждали, когда оно утихнет.

Но только утихло озеро, вздыбилась Хатанга.

Ни одну из речных посудин — барж, буксиров и шхун, занявших Хатангский рейд, не раскачивало сильнее в тот день, чем наш «корабль». Самолет рвался на плавучем якоре, как подсадная утка с привязи. Со стороны казалось, что он либо взлетит, либо нырнет, но он, балансируя крыльями, отряхиваясь от брызг, лез на следующую волну.

А между тем у геологов, работавших где-то на Маймече, одном из притоков Хатанги, кончилось продовольствие. Связи с ними не было, но завхоз их партии, оставшийся здесь, со слезами на глазах уверял, что хлеба, во всяком случае, они не едят дней пять, а может, и все десять.

— Неужели нельзя взлететь? — наивно спрашивал завхоз. — Командир, вы же полярный летчик!

— Нет, нет, нет!

И все-таки мы полетели — командир дал согласие лететь на колесах.

Когда уже заходили на посадку — узенькую галечниковую косу между речкой и лесом, радист принял телеграмму: «После посадки возвращайтесь тчк Санрейс».

А внизу все так же змеились быстрые речки, весело выписывая замысловатые кренделя, меняя русла, оставляя старицы... Румянили бока золотистые пляжи, пустынные, без единого человечка,— среди плюшевого, невысокого полярного леска. Над рябью засиневших от ветра озер проносились белые точки — чайки. В одном озерке плавала пара лебедей. Озерко было как нарисованное сердце, лебеди держались у зеленого острия. Наверное, там у них гнездо...

— Куда санрейс? — сразу же, как только перешли на «командную связь», спросил командир.

— В Хету.

— Там не сядешь на колесах. — Он хорошо знал это стойбище — несколько домиков у реки.

— Да. Пойдете на поплавках.— Ответ был резкий и беспрекословный.

Командир помолчал.

— Узнайте, может, есть возможность обождать. Волна должна стихнуть.

— Там ребенок...

— Ясно, — и, помолчав, командир добавил, так, на всякий случай: — Катер подготовьте.

— Все готово.

Потом у нас началась относительно спокойная жизнь. Мы выполняли один и тот же рейс: Хатанга — озеро Таймыр, потихоньку высвобождая на озере мерзлотники — кладовые, забитые с зимы мороженой рыбой. Относительно спокойная, потому что частенько приходилось менять места посадок. Озеро мелело на глазах. Вода, как в прорву, стекала из него в огромное жерло Нижней Таймыры. Как-то мы полчаса, едва не загнав моторы, пытались вырваться с мели, где еще вчера с достатком хватало глубины для поплавков. Рыбаки по воде долго брели к своим лодкам.

Да и тундра заметно подсохла. Она уже не была сплошным морем и сплошным болотом, как было два месяца и месяц назад.

Большие озера распались на несколько озер поменьше, небольшие исчезли вовсе. Явственно обозначилась суша, буро-зеленый покров ее уже прихватывал осенний пожар: загорелись золотом мхи и стелющиеся кустарники.

В «комнатах отдыха», как называлась гостиница летчиков, в холле на втором этаже, где собирались экипажи малой авиации и турбовинтовых лайнеров и где можно услышать тысячи правдивых, смешных, трагических и самых невероятных историй, как-то заговорили о тех геологах, которым мы возили хлеб. Но я почему-то не очень слушал разго-

вор, так, вполуха; узнал о нем уже позднее от командира, когда в полете мы обогнали огромное стадо диких оленей. Они двигались плотной серой массой вдоль русла высохшей речки строго на юг, возвращаясь с побережья океана, куда бежали весной заблаговременно от комаров, оводов, мошки. Они возвращались, и это был верный признак, что скоро наступят холода и в здешних краях.

Мы кончили пробивать облачность. Под нею было по-вечернему сумеречно. Шел дождь. Плоскости блестели.

— Хатанга, — позвал командир. — Какую вы даете нижнюю кромку?

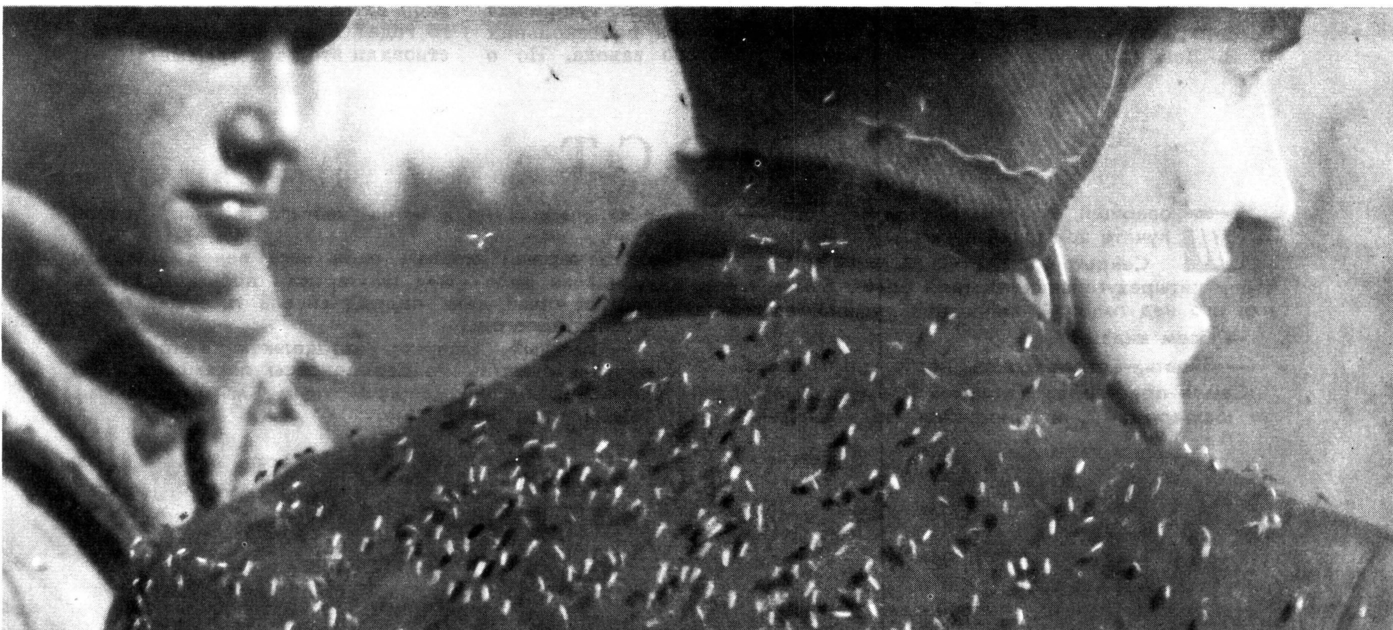
— Высота нижней кромки облачности двести метров, — невозмутимо подтвердили с земли.

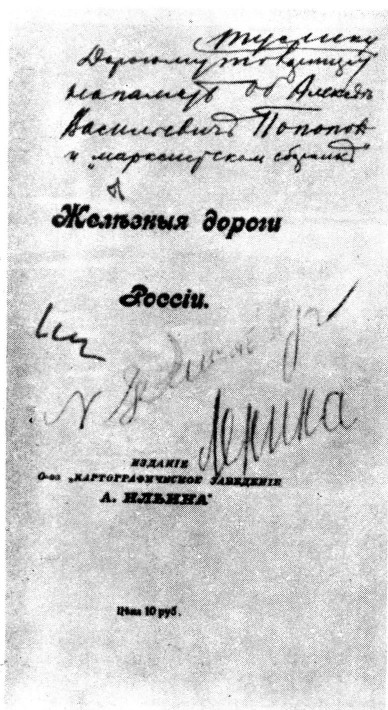
— Передайте там этим, — командир сделал паузу, — метеорологам. Высота нижней кромки шестьдесят метров. Шестьдесят!

Мы летели чуть выше елочек. Или так казалось от темноты — до них можно было дотянуться рукой. Погода что-то портилась с каждым днем.

— Слыхал? — спросил меня командир. — По радио сообщали. На Таймыре геологи пиропы нашли, спутники алмазов. Возможно, трубку скоро найдут.

Я знал, каких он геологов имел в виду. Наверное, тех, кому мы возили хлеб. А может, и нет. Сейчас на Таймыре столько геологов!




Желѣзныя дороги

Россіи.

Ленина

Изданіе О-ва „Картографическое заведеніе А. Ильина"

Цѣна 10 руб.

АТЛАС ЛЕНИНА

А. ШАМАРО,
наш спец. корр.

Луньёвку вы можете найти на карте Западного Урала, если проследите взглядом железнодорожную ветку, которая тянется на север от магистрали Пермь — Нижний Тагил (так называемой Горнозаводской линии) и обрывается в Соликамске. Примерно посередине этой ветки вы увидите город Александровск. В этом месте от железнодорожной линии отходит на восток короткий «аппендикс» — семикилометровая ветка, конечной точкой которой и является станция Луньевка. Она помечена едва заметным кружком на карте XIV атласа «Железные дороги России», принадлежавшего В. И. Ленину.

Какие события связаны с этой ленинской пометкой?

Все попытки обнаружить упоминание Луньевки в военных сводках Реввоенсовета республики никаких результатов не дали. Нет в официальных военных сводках — быть может, есть в более подробных оперативных донесениях? По два-три раза в сутки по телеграфу шли они из штабов наступавших армий в полевой штаб Реввоенсовета. Командование Красной Армии сообщало их В. И. Ленину по телефону в Кремль.

«Журнал военных действий 3-й армии Восточного фронта». Оперативная запись:

«11 июля части отряда находились в районе ст. Губаха, Кизеловский и Александровский заводы, к вечеру того же числа после упорного боя с противником частями отряда занята ст. Усьва и без боя занят завод Кизеловский и после короткого боя завод Александровский».

Если у колчаковцев отбит Александровский завод, то уж наверняка занята и тупиковая станция Луньевка в нескольких верстах от этого завода. Но о ней оперативная сводка не упомянула: слишком, видимо, незначительным был этот пункт.

Почему же Луньевка отмечена на карте ленинского атласа?

Перед нами телеграмма В. И. Ленина в Екатеринбург.

«23 сентября 1919.

Поручается Полевому штабу вставить при первой же возможности в военное сообщение следующее обращение к члену коллегии Наркомпрода Юрьеву в Екатеринбург:

«Продовольствие рабочих, восстанавливающих мост через Косьву, Луньевской ветки, а равно рабочих Кизеловских копей и фуражирование их лошадей абсолютно необходимо для обеспечения войны. Требуется максимальная энергия и немедленный ответ по телеграфу таким же путем о фактически сделанном».

Председатель Совета Обороны ЛЕНИН».

Что же произошло на Луньевской ветке осенью девятнадцатого года? Какие события предшествовали этой телеграмме?

МОСТ

— Товарищи, а теперь подходите к столу и получите вот такие анкеты...

Секретарь партийной ячейки взял со стола четырехугольник плотной белой бумаги и поднял его над головой, поближе к тусклой лампочке.

— Всем видать?

— Видать,— откликнулось несколько голосов.

Самая просторная школьная комната была набита шахтерами. Они притащили сюда скамейки из всех классов, но и их не хватило, лепились вдоль стен.

По черным стеклам окон весь вечер змеилась дождевая вода — над шахтерским поселком Губаха уже который день подряд висела гнетущая предзимняя непогодь.

— Каждый товарищ,— продолжал секретарь,— должен ответить на все вопросы письменно. Ну, неграмотным и малограмотным мы поможем... Подписать и отдать мне.

В комнате зашумели, загремели отодвинутыми и опрокинутыми скамейками. Павел Парыгин стал протискиваться к столу. Минуту спустя он уже отходил в сторону с листком в руках, на ходу проглядывая короткие строчки. Сверху крупными черными буквами было написано: «Анкета сочувствующего Российской Коммунистической партии (большевиков)».

Шахтеры облепили стол. Ручек не хватало, и за спинами пишущих толпились ожидавшие своей очереди. Они заглядывали через плечи, подсказывали... Звонко ударяли перья в ученические стеклянные чернильницы. Павел присел на освободившуюся скамью и, неловко держа листок, прочел: «Довольны ли вы Советской властью или нет — почему?» — это был первый вопрос.

Лампочка над столом, все время мигавшая, чуть удерживала в себе огонь, покрасневший волосок в ней не светил, лишь светился. Но Павел и не торопился читать дальше...

Вспомнилась деревенька в низовьях Косьвы, и дом, и тот слепой старый шахтер (изуродовало его взрывом), что притащился назад в деревню — доживать век. «Свинья роет, баран помогает, бражная мука от штрафа избавляет», — так говорил он Павлу на скучных проводах. Так и отправился Павел на заработки в Губаху: с окороком и бараньей тушей, крынкой масла и мешком муки — для «раздачи по начальству». Всем полагалось, начиная от смотрителя копей до бирочника на отвале.

Длинные и низкие подземные норы похожи были на отводные трубы всемирного потопа: вода лилась с кровли, шла прямо по откаточному штреку, выплеснувшись из кюветов, заваленных кусками угля и пустой породы... На Павле висела куртка, сшитая из мешковины; на ногах были крепко прикручены лапти — так были одеты все шахтеры. В первые же минуты своей горняцкой жизни он промок насквозь. Велено было таскать инструмент в отдаленную наземную кузницу, где его нужно было подострить. С кайлами на веревке, с зубками в сумке и с бурами в руках медленно поднимался он по бесконечным деревянным ослизлым от натоптанной грязи ступенькам, останавливаясь, чтобы утишить дыхание и загасить желто-красные сполохи, которые начинали осатанело метаться перед глазами. И это видение нагоняло на него такой страх, что он принимался моргать, словно хотел веками расплющить севших прямо на глаза комаров.

За первые четырнадцать часов своей шахтерской работы Павел успел сделать только две такие вылазки. Смена кончилась, смотритель распорядился снять замки, которыми в начале смены замыкали двери ходов вслед за последним горняком, — и рабочие вышли «на волю»... Даже после такого дня, сбросив в сенях отяжелевшую от воды одежду, Павел не смог сразу заснуть в шахтерском бараке. Родная избенка, с крохотными тусклыми оконцами, с едучим дымом из печного зева показалась ему светлой горницей в сравнении с его новым жилищем. Казалось, что в этой длинной казарме, с бетонированным полом, с трехэтажными нарами, уже не осталось никакого природного воздуха — вся она была залита до потолка тяжелой смесью: резиновый запах липкого пота, махорочный дым, копоть керосиновых ламп, гарь раскаленных докрасна ржавых железных печек и сизый пар от висевших над ними портов и портянок.

День шел за днем, и чудилось Павлу, что зацепило его мельничным колесом и крутило безжалостно и мерно: то вытащит над водой, то опять по дну проволочит...

Пришел семнадцатый год и стал вымывать из шахтерских поселков все старое начальство. Февраль смыл полицейских и жандармских чинов. Октябрь — шахтовладельцев и приказчиков-управляющих...

Летом восемнадцатого года на Урале вспыхнула гражданская война. Она захлестнула и Луньевские копи.

Павел Парыгин не успел уйти с красными.

Потянулись дни колчаковской власти, страшные дни.

И самым страшным для Павла был один.

Павел ходил в Кизел к знакомому шахтеру раздобыть немного хлеба. Возвращался уж поздно, намереваясь к рассвету добраться до Губахи.

Днем прокатилась гроза, и обрывки туч все еще громоздились в небе. Огромный багровый диск плавно проваливался сквозь них все ближе и ближе к черным лесистым предгорьям...

Неподалеку затрещали выстрелы. Стреляли где-то возле Николаевской шахты. Павел свернул с тропы и стал пробираться в ту сторону.

Вот и шахта.

В нескольких метрах от раскрытого шахтного ствола толпилось человек тридцать — оборванных, босых, изможденных, были среди них и женщины. Со всех сторон вокруг них поблескивали штыками конвоиры. Через устье шахты была перекинута мостиком длинная плаха.

Слышно было плохо, но все же Павел разобрал слова офицера. «Кто перейдет по бревну, будет отпущен на свободу...» Первый из обреченных успел дойти до середины. Офицер пнул бревно, и шахтер с жутким криком исчез в зияющей дыре. Это был сигнал. Колчаковцы принялись сбрасывать людей в шахту клинками, прикладами, штыками...

Скоро все было кончено. Павел пополз назад, хотя можно было бы встать — совсем стемнело. Но он не в силах был оторваться от земли.

...Наступило, наконец, раннее утро 11 июля 1919 года. Колчаковцев почти не было видно.

— Уматывают! — с угрюмым удовлетворением говорили шахтеры. — Когда ж совсем уберутся?

— Это они, брат, тебе сами объявят. Вот как ухнут мост на Косьве, так, считай, можно красных встречать...

Павел сидел на нарах в опустевшей, притихшей казарме и настороженно вслушивался в мертвую, недобрую тишину.

В сенях послышались быстрые шаги, голоса, и дверь в казарму с треском распахнулась...

На пороге стоял бывший смотритель рудника. Глаза его рыскали по нарам. За ним поручик и несколько солдат с винтовками.

— Ваше благородие, вот этот самый, про которого я вам давеча говорил, — сказал бывший смотритель, указав на Павла, — он сам с Косьвы, сызмальства по ней плавал, каждый камень знает.

— Собирайся, пойдешь с нами! — приказал офицер, приближаясь к нарам. — Ну!!

Когда вышли из казармы, смотритель сразу куда-то пропал, а колчаковцы повернули к восточной окраине поселка.

Павел шел впереди. Дошли до берега.

К наваленным у воды бревнам была привязана вместительная просмоленная лодка с какими-то ящиками и солдатскими вещевыми мешками. Двое солдат топтались возле нее.

— Вот багор... Залезай! — приказали Павлу.

— К быку под мостом причалить сумеешь? — спросил его поручик, когда лодка уже отчалила от берега.

— Не велика забота... — ответил Павел, стоя на носу с длинным багром. — Только пусть они... — он кивнул на солдат, которые неумело гребли, далеко откидывая за спину весла и почти отвесно погружая их в воду, — слушают мои команды...

— Валяй командуй! — махнул рукой офицер, и в голосе его впервые прозвучали нотки добродушия и успокоенности.

Все, что случилось потом, Павел вспоминал впоследствии с таким ощущением, будто не он действовал по задуманному плану, а сам этот план цепью связанных между собой и следующих одно за другим событий властно двигал им самим.

Багор, которым Павел промерял дно и отталкивал лодку от опасного каменистого мелководья к стрежню, вдруг намертво застрял в подводных камнях... Павел свирепо заорал на растерявшихся гребцов, требуя, чтобы те попридержали веслами лодку, уже навалившуюся бортом на багор, даже на поручика прикрикнул. Тот послушно вскочил, отбросив папиросу, и полез на нос, к Павлу... Но было уже поздно: с резким, сухим треском багор сломался. Офицер и Павел стали клясть все на свете. Но делать было нечего: кое-как прибились к берегу, и Павел в сопровождении двух конвойных отправился в прибрежные заросли срубить лесину.

Потом, когда высокая тонкая береза была уже срублена, Павел опять заворчал: «Ну, чего стоишь? Помоги подтянуть — видишь: в кустах зацепилась. Хочешь, чтобы нас тут всех красные накрыли?» Один из конвоиров, прислонив винтовку к дереву, торопливо зашагал к Павлу. Под треск ветвей и кустов они потянули хлыст. Солдат, потеряв равновесие, с размаху клюнул носом в густую березовую листву, Павел тоже упал ничком. Когда конвойный поднялся на ноги — проводника рядом с ним уже не было.

Стреляли наугад — по зарослям...

Потом, кое-как столкнув лодку веслами, колчаковцы поплыли в сторону моста. Из своего укрытия Павел видел, как напористая косьвинская вода стала медленно раскручивать черную посудину, понесла ее вперед правым бортом, потом — кормой.

«Ну, такие под мостом не зацепятся!» — усмехнулся Павел.

Он весело вскочил на ноги и в то же мгновение вновь распластался на земле: несколько человек гуськом продвигались неподалеку от него. Он слышал, как они разговорились с каким-то губахинским жителем.

— Товарищ, как поближе к мосту пройти?

— Вот этой дорогой и идите, ближе пути нет.

— Белые в поселке?

— Нет, весь Колчак ушел...

Павел выглянул из травы. «Да ведь красноармейцы!»

Он поднялся с земли и приветливо замахал руками. «Вот и кончилось это проклятое утро!..» — подумал он. Но тут ему послышалось отдаленное ритмическое пыхтение паровоза. Из распадка прибрежных гор на мост выползал бронепоезд. Павел отчетливо увидел, как из его гладкого, светло-зеленого бронированного тела выскочило несколько человеческих фигур.

— Мост! — закричал он, подбегая к красноармейцам. — Мост! Стреляй!.. Спугнем!

Красноармейцы вытянулись цепью и дали несколько залпов. Черные фигуры заметались по ажурной ферме и попрятались в блиндированных вагонах. Бронепоезд, повесив над рекой клубы пара, попятился в горы. И как только он исчез в распадке — грохнул взрыв. Центральная ферма моста одним своим концом рухнула в реку.

— Ничего, Паша, — не раз говорили потом сердобольные товарищи. — Не казнись: главное — быки целы, если бы не ты — они их непременно бы взорвали.

...Их поселили в теплушках у самого моста, несколько сот добровольцев со всех шахт. Сперва наладили «висячку» — подвесную дорогу над Косьвой, потом пустили понтон.

Павел Парыгин проработал на строительстве моста от первого дня до последнего.

Когда поздней осенью 1919 года губахинская партийная ячейка оповестила о собрании, на кото-

Рисунок С. ПРУСОВА



ром будут «записываться в сочувствующие», он приехал в поселок на попутной подводе.

Павел опоздал немного и, когда вошел в комнату, услышал хорошо знакомый ему голос секретаря партячейки:

— Товарищи, по этому мосту от нас за Косьву пойдет кизеловский уголь, которого так ждет республика, а оттуда, из-за Косьвы, по тому же мосту, ибо другой дороги нет, придет к нам новая жизнь — долгожданная, выстраданная нами жизнь. Это не только мост с одного берега на другой. Нет, это мост из нашего прошлого в наше будущее, товарищи!

А потом позвал к столу.

...Все еще не было свободных ручек, но Павел подошел к пишущим. Увидел, как выводит Бочихин: «Доволен всем. Потому что Советская власть работает правильно».

Рядом с ним присела Березина, шахтерка. «Довольна,— пишет она,— что не буржуазный кулак, а мозолистая рука».

Лоскутов, забойщик, тоже насчет руки записал: «Доволен вполне. Потому что Советская власть от рабочей руки».

Матрос Воронищев, который пришел на шахты совсем недавно и еще пребывал в чернорабочих, ответил по-военному кратко: «Доволен. Идет правильно».

Ботанов, слесарь, еще короче сказал: «Доволен. За идею».

Павел переходил от одной сосредоточенно сгорбленной спины к другой и всякий раз думал: «Правильно сказал! Вот так бы и мне написать!»

Когда все анкеты были заполнены, секретарь собрал их и сложил ровной стопкой на зеленом сукне стола. Сверху лежал листок, заполненный забойщиком Павлом Парыгиным:

«Доволен. Потому сама жизнь».

* * *

Вот они — эти анкеты...

Толстая, аккуратно и плотно переплетенная папка. На обложке обычный архивный шифр: «Пермский областной партийный архив. Фонд 61, опись 2, единица хранения...»

Переворачиваю лист за листом, читаю короткие ответы. За каждым — человек...

В очерке рассказано только об одном. В рассказе нет ни вымышленных событий, ни вымышленных имен. Все это сохранилось в документах и в памяти людей, которые еще живы.





ОЛЬГА ЛАРИОНОВА

ОСТРОВ МУЖЕСТВА

Фантастический рассказ

Мануэль Рекуэрдос, младший инженер научно-исследовательского центра Пальма-да-Бало, совершил свой полет во времени, принесший ему мировую известность и оставивший за ним последнюю страницу каждого учебника истории, на которой неизменно печатался один из шести рисунков, сделанных Рекуэрдосом на следующий после полета день в больничной палате, где он умирал после нелепой катастрофы, случившейся с его самолетом при посадке в Орли.

Отправляясь в будущее столетие Земли, молодой ученый нимало не заботился о собственном завтрашнем дне. Создав свою Машину, способную перенести его в любой век и в любой час, он совершенно не интересовался тем, что произойдет через двадцать четыре часа с ним самим. Он не предвидел даже того, что случится через несколько минут после его старта; он даже предположить не мог, что его помощник и — как ему казалось до сих пор — друг Бриан Викерзунд совершенно нечаянно (но за приличное вознаграждение) проговорится о предстоящем эксперименте двум изголодавшимся по сенсациям журналистам. Рекуэрдос не знал и не мог знать, что четыре глаза и два телеобъектива стерегут каждое его движение, и сенсационная весть о полете его Машины через каких-нибудь три четверти часа облетит редакции солидных утренних и дешевых вечерних газет, и к моменту его возвращения склон холма будет усеян верткими газетчиками и толстомордыми полицейскими.

Мануэль Рекуэрдос не знал ничего. Пожалуй, ни один изобретатель, залезающий в самодельное брюхо своего кустарного детища — будь то первый паровоз, биплан или субмарина, — не имел столь смутного представления об исходе эксперимента, как он. Действительно, все предыдущие опыты имели два вполне представимых конца: паровоз либо пойдет по рельсам, либо сойдет с них; биплан полетит либо вверх, либо вниз, а субмарина или всплывет, или потонет. Но как поведет себя Машина? Будет ли ее возвращение назад мгновенным? Или время, проведенное в будущем, зачтется как настоящее? А может, «бесплатным» во временно́м отношении окажется только отрезок перелета из одного века в другой?

— Поживем — увидим, — беззаботно проговорил Мануэль, залезая в узенький люк Машины, как залезают в брюки. — Ну, а не вернусь — приберешь бумаги из моего ящика, авось пригодятся в диссертацию. И да простит меня босс за потраченную энергию!

Бриан переступил с ноги на ногу — он изнывал. Бумаги из ящика Мануэля были, разумеется, лакомым кусочком — при желании из них можно было бы вытянуть две, три, пять диссертаций, но куда заманчивее была перспектива его благополучного возвращения. Машина Рекуэрдоса и Викерзунда! Роль последнего, правда, сводилась к тому, что он уламывал начальника отдела высоких энергий, выменивал японские потенциометры на бекбекастовые стержни, крал где только возможно (добром не давали) микроаккумуляторы и просто паял что-то с чем-то. Но неважно. Мануэль был щедр. До сих пор его головы с лихвой хватало и на него самого, и на Бриана, и еще на добрых полтора десятка сотрудников из проблемной лаборатории, включая и самого шефа. Отсюда и безнаказанность за самые бредовые эксперименты. Блестки неуемной фантазии Мануэля усыпали планы работ лаборатории, точно рыбья чешуя, они липли ко всем и бескорыстно порождали «эффект Рекуэрдоса и Войта», «открытие Рекуэрдоса и Бустаманте», «спектр Рекуэрдоса и Митро»...

Бриан нетерпеливо кашлянул — теперь настала его очередь поживиться. «К сожалению, первая модель нашей Машины была так мала, что мы не могли лететь вместе», — скажет он журналистам. Так бы он и полетел! Вон Мануэль, беспечный, удачливый Мануэль — даже он не торопится заползать в капсулу, чтобы затем обрушить на себя неведомо как преображенный поток энергии. Даже ему страшновато. Ведь это все равно что стать под струю плазмы, прикрывшись пляжным зонтиком. А может, Мануэль передумал?

Нет, он не передумал, он просто смотрел вниз. Правая вершина двугорбого холма — если смотреть, обратясь спиной к югу, — была застроена новенькими зданиями исследовательского центра, которые сползали в седловину и подбирались уже к развалинам древней базилики, расположенной ближе к левой вершине. Воздвигли ее, кажется, еще в первом веке, она простояла века, убогая и нерушимая, как сама вера, и благополучно развалилась сто лет назад во время чудовищного урагана,

уничтожившего половину растительности Сивилии и в буквальном смысле слова пустившего по ветру немногие уцелевшие памятники старины. Правда, развалины виллы римского императора, притулившейся у подножия холма, уцелели, и в послеобеденный час туда можно было водить смазливых лаборанток — рассматривать явно легкомысленные для III века купальнички мозаичных красавиц, сцены августейшей охоты на неправдоподобных и посему нестрашных зверей, и, наконец, изображение самого хозяина виллы, венценосного меланхолика в ермолке и с рожей профессионального убийцы. Беззащитные торчки голых колонн располагались правильными четырехугольниками, справа и слева тянулись развалины нищей деревеньки Пальма-да-Бало, давшей название исследовательскому центру, но так и не поднявшейся после того страшного урагана; бурые кирпичи рассыпавшейся базилики ползли вниз, по склону холма, словно сытые черепашки, и венчала этот пейзаж шестидесятиметровая рогатая антенна сектора космической информации.

Картина была запоминающейся.

Мануэль встряхнулся, глянул на часы — было уже двадцать минут восьмого. Солнце взошло давно, и воздух, иссушенный треском озверелых цикад, неумолимо накалялся. Мануэль расстегнул ворот рубашки и потянул пестрый шнурок, заменявший ему галстук, — шнурок развязался и бесшумно скользнул вниз, в отверстие люка. Мануэль проводил его взглядом, легонечко пожал плечами — в путь так в путь — и молча нырнул в темную дыру. Лязгнула крышка. Черная капсула, похожая на пивную бочку средних размеров, начала вибрировать, дернулась в сторону разрушенной базилики, словно хотела покатиться вниз по усыпанному кирпичами склону, и благополучно исчезла.

Мануэль поерзал, устраиваясь. Сидеть, согнувшись в три погибели и прижав колени к груди, было чертовски неудобно. Крошечная лампочка, подсоединенная к аккумулятору, едва освещала приборную доску. Четырехдюймовые стенки капсулы пульсировали, словно оболочка волейбольного мяча, когда его накачивают. Смотровая щель, забранная полосой опалового плекса, была слепа как бельмо. «Обидно, — подумал Мануэль. — Все-таки эта дубина Бриан, с его вечными сомнениями и нытьем, оказался прав. Будущее тут, за глухой титанировой стеной, за гнутой полосой плексигласового иллюминатора — и оно невидимо, неощутимо. Сорвалось. Ах, ты!..»

И тут ЭТО появилось. Просто, обыкновенно, как кино. Естественное явление чуда. Изображение, срезанное границами щели, — чуть подрагивающее, цветное, объемное, ничуть не фантастическое. Зал? Да, огромный зал, весь белый, окна эдак шесть на шесть, вдоль стен лиловые досочки приборных и распределительных пультов, сливающиеся в одну непрерывную полосу. И двое у проема двери. Старики.

Мануэль с безмерным удивлением смотрел на их чуткие, настороженные спины, он угадывал в них так хорошо знакомую ему самому утреннюю усталость после бессонной ночи, усталость, одурманивающую — для человека и обостряющую все чувства — для экспериментатора; усталость, святую и проклятую, потому что она берет тебя всего, целиком, и не оставляет тебе ничего, кроме твоей работы.

И тогда тот из двоих, что был выше и осанкой напоминал самого молодого из допотопных патриархов, положил свою стариковскую нелегкую руку на плечо своего собеседника и, наклонившись, пошевелил губами — звуков слышно не было, и оба они повернулись к Мануэлю, и он увидел их улыбки, и снова вспомнил самого себя и ребят из своей лаборатории после сумасшедшей ночи, когда все сделано и подходишь к окну и смотришь на новорожденное солнце, еще не вошедшее в полную яркость, и слабо улыбаешься, и легонько кружится голова, а утро уже не только в окне, оно в дверях, и к тебе бегут с новыми заботами — свеженькие, выспавшиеся лаборантки из соседних отделов; и на эти заботы снова не хватит дня. Выходило, что так и будет всегда, потому что там, за иллюминатором, уже бежала, словно повинуясь воспоминаниям Мануэля, девушка в розовом — непривычный цвет для спецкостюма; и, конечно, в руках у нее был запечатанный пакет — заботы, на которые этим старикам снова не хватит дня...

Все шло как надо, и главным в этом мире завтрашнего столетия было не великолепие не совсем понятного по своему назначению зала, не причудливые контуры многолепестковых антенн и даже не роскошные формы полностью восстановленной виллы, видной сквозь распахнутые настежь двери, — главным был привычный ритм работы, усталые улыбки ученых мужей и то, что все это существует, все это есть на белом свете, что мир не раскололся на куски и не рассыпался атомной пылью, и что-то еще, что-то новое, какая-то неведомая р а з у м н о с т ь наблюдаемого им мира...

...И тогда тот из двоих, что был выше и осанкой напоминал самого молодого из допотопных патриархов, положил свою стариковскую нелегкую руку на плечо своего собеседника и, наклонившись, проговорил, едва шевеля губами:

— Время, Нид.

И еще:

— Постарайтесь улыбаться, друг мой.

Они обернулись, и лица их были спокойны.

— Вот вам яркий пример того, как легко увидеть желаемое — даже если оно незримо. — Нид Сэами покачивал головой, и усмешка его относилась полностью к себе самому. — Мне кажется, что я угадываю контуры Машины — вон там, за ксирометром.

Доменик прикрыл глаза. Никогда бы не подумал, что лицо может так устать. Каждая клетка кожи. Каждая морщинка. Устать от улыбки.

— Нет, друг мой, вам показалось. Машина, принадлежащая другому времени, должна быть для нас невидимой. Но она здесь.

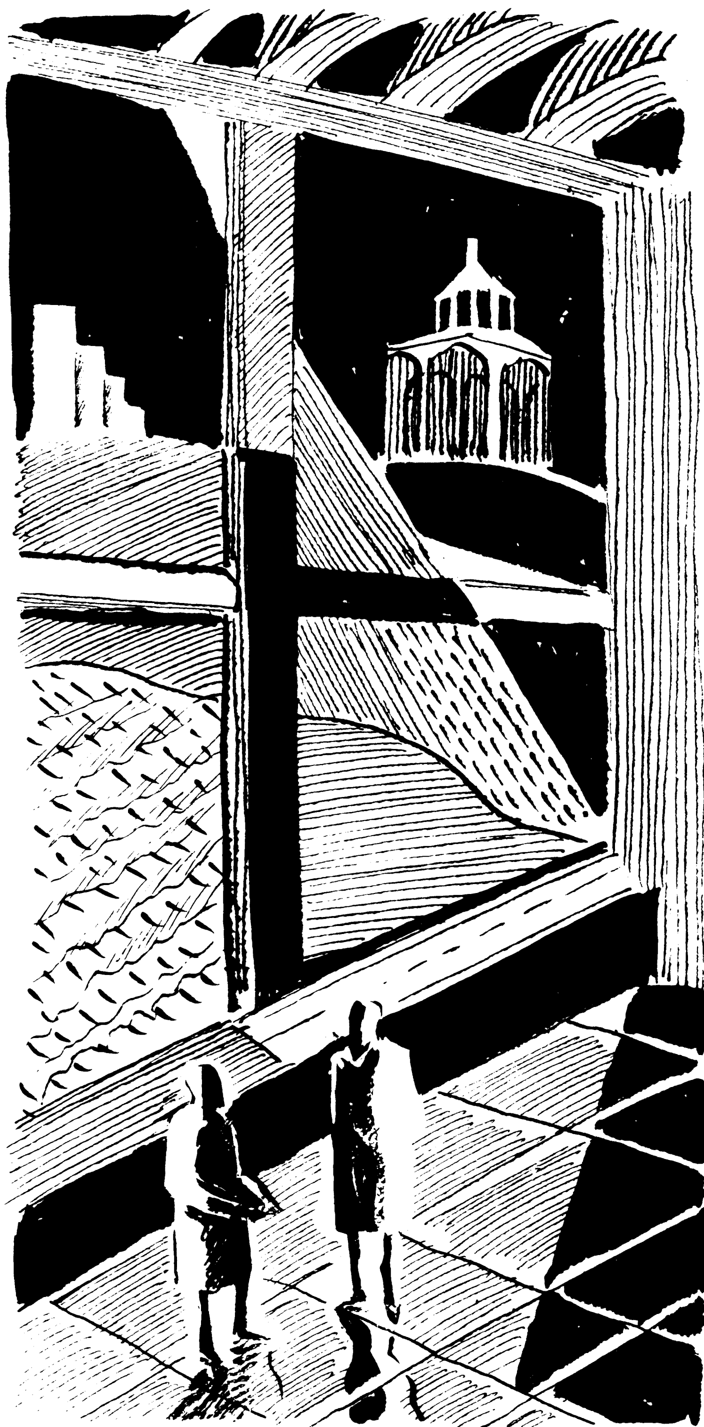
Они говорили, не боясь, что тот, кто минуту назад стал свидетелем их разговора, поймет их. Звуков он не слышал.

— Она здесь, — повторил Доменик, — неповторимая Машина Рекуэрдоса, гениальная Машина, сумевшая заглянуть в будущее... и ничего не понять. Она не просто из другого времени — она из другой эпохи. Эта Машина — трехмесячный ребенок, только учащийся видеть мир таким, какой он есть!

Нид Сэами пошевелил пальцами, но лицо его, лицо доброго тибетского божка, продолжало оставаться мудрым и безмятежным.

— Если бы трехмесячный ребенок увидел мир таким, каков он есть, — тихо возразил он, — ему не осталось бы ничего, как сойти с ума от ужаса перед бесконечностью вселенной и кратковременностью существования своего собственного «я». И тогда, чтобы загородить от него этот мир, взрослые вешают над его колыбелью яркую погремушку, которая заслоняет ему...

Они встретились взглядом, и



Рисунки В. КОЛТУНОВА

слово, которое так избегают старики, повисло в воздухе.

— Они заслоняют бесконечность, — закончил вместо своего друга Доменик. — Хотя не кощунство ли говорить сегодня о бесконечности?

Нид Сэами покачал головой, попрежнему улыбаясь, и улыбка его не была маской.

Певучий звук гонга раздался под сводом зала, долгий чистый звон и торопливый голос: «Разрешите войти?»

Они посмотрели друг на друга, и никто не решился ответить. Это было то самое, чего они ждали всю ночь, — два столбика цифр на типовом бланке для приема автоматических радиосигналов с дальних спутников. Именно сейчас.

— Это Тереза, — сказал Нид. — Задержать ее?

Доменик провел ладонью по лицу, словно проверяя, не исчезла ли его мудрая, чуточку высокомерная улыбка.

Улыбка была на месте.

— Пусть все идет своим чере дом, Нид.

— «Девушка в розовом — ветка цветущей сакуры...» — напевно прочел Нид Сэами. — «Завещание Рекуэрдоса», токийское издание. Войдите, Тереза!

Девушка в розовом. Она пересекла зал, чуть наклоняясь вперед и украдкой оглядывая собственное отражение, скользящее у ее ног по черному блестящему полу.

— Последняя сводка с Плутона-дубль, как вы просили, доктор Неттлтон.

Доменик взял из протянутых рук пакет. Ежедневно четыре такие сводки поступают в этот зал. Чаще всего их записывает киберколлектор информации, реже — приносит кто-нибудь из девушек группы космической связи. Но никогда еще сводки внеземных автоматических станций не передавались в запечатанных конвертах. Тереза это знает, и в другое время она, может быть, и встревожилась бы, но сегодня все необычное допустимо, ведь нынче такой день, такой день...

Нид Сэами сложил маленькие ручки на груди, как он это делал всегда, когда обращался к женщине:

— Если позволите, Тереза, то я не желал бы Мануэлю Рекуэрдосу видеть кого-либо, кроме вас, и я смею надеяться, что именно вас он унесет в своих воспоминаниях, подобно лепестку вишни, хранимому между страниц записной книжки...

Тереза ослепительно улыбнулась, но эта улыбка предназначалась не маленькому старомодному Ниду Сэами с его восточной витиеватостью учтивых речей — это была улыбка для Рекуэрдоса.

— Благодарю вас, доктор Сэами, но сегодня такой день — двадцать седьмое мая, и все девушки Пальма-да-Бало одеты в розовое. Все до одной. Так что мало надежды на то, что Мануэль Рекуэрдос увидит именно меня.

Нид Сэами покачивал головой, и щелочки его глаз то закрывались совсем, то вспыхивали влажной черной искрой. Обрадовать Терезу? Сказать ей, что счетные устройства рассчитали появление Машины Рекуэрдоса с точностью до тридцати секунд и Мануэль уже увидел Терезу, именно ее, и он унесет в своих воспоминаниях ее образ, — «подобно лепестку вишни, хранимому между страниц записной книжки», — но в армейском госпитале недалеко от Орли, куда его доставят после катастрофы, он не успеет ни нарисовать, ни описать ее — он только скажет: «...и девушка в розовом...»

На зеленом холме, сохранившем название Пальма-да-Бало, все девушки сегодня одеты именно так. Каждая из них надеется, что сейчас ее вызовут в координационный зал, и она пройдет мимо невидимой Машины. Если бы сегодня был другой день, если бы не запечатанный пакет, принесенный Терезой, он именно так бы и поступил: вызывал бы сюда, в этот зал, всех девушек поочередно, и каждая из них сохранила бы на всю жизнь маленькую тщеславную надежду на то, что только она могла быть «девушкой в розовом» Рекуэрдоса.

Всю жизнь...

— Я свободна, доктор Неттлтон?

— Разумеется, Тереза. Благодарю вас.

Привычно отражаясь в базальтовой черноте пола, коротенький розовый халатик (наверное, чересчур коротенький, если смотреть глазами жителя прошлого столетия) плавно пересек исполинский павильон координационного зала. Дверь медленно затворилась.

Это здание выстроят уже после смерти Рекуэрдоса, чтобы оградить все возможное пространство, в котором несколько веков будет лететь вперед его невидимая Машина.

— Он еще видит нас? — спросил доктор Сэами.

— Еще около минуты.

Они стояли друг напротив друга, и руки Доменика помимо его воли медленно вскрывали конверт.



— Минута истекла, Доменик. Читайте.

Две равные колонки цифр. Пакет можно было бы и не запечатывать — все равно ни операторы станции космической связи, ни Тереза, ни даже доктор Сэами ничего бы из них не поняли. Это был ответ на специальный запрос Доменика Неттлтона, и он один знал, что означает каждая цифра.

«Приблизительный объем надвигающейся туманности», — сказал он и прочел первую цифру.

Она была огромна.

«Интенсивность ее излучения по предварительным данным» — и здесь величина была жуткой.

«Направление ее полета» — направление было точно на Солнце.

— Еще двадцать два дня, — проговорил Доменик Неттлтон, — и на Земле не останется ни одной живой клетки.

...Привычно отражаясь в базальтовой черноте пола, розовый халатик стремительно пересек исполинский павильон белоснежного зала. Дверь резко захлопнулась.

Теперь перед Рекуэрдосом были только два старика, и тот, что был выше и шире в плечах, держал в руках пакет, словно ожидая чего-то. Потом он резким движением рванул конверт и выхватил оттуда маленький листочек.

«Дикий темп, — подумал Мануэль. — Невероятный темп. Так встрепенуться может только огромная, почуявшая опасность птица. А еще старики! Позавидовать только такой прыти. Все они тут от мала до велика с раннего утра крутятся как белки в колесе, и совершенно очевидно, что это для них — обычная жизнь. Позавидовать?»

Ха! Пусть ему позавидуют, ему, Мануэлю Рекуэрдосу, который сумел все это увидеть! Ведь никто еще до него не смог заглянуть ни в прошлое, ни в будущее, хотя принцип передвижения во времени известен уже добрый десяток лет. Машины строились, поглощая годы и жизни человеческие, различные модели создавались одна за другой, но ни одной не удалось сдвинуться с места. Они строились, несмотря на запрет, наложенный на любые опыты со временем еще двенадцать лет назад, когда ученые решили, что одна неблагожелательная экскурсия в другой век может коренным образом изменить ход мировой истории. Но опыты проводились потихоньку и каждый раз давали нулевой эффект. Мануэлю доводилось слышать об этих

попытках. Каждый раз повторялось одно и то же: Машина дергалась, контур ее на долю мгновения размывался, в какую-то бездонную, непредставимую прорву ухала вся энергия внутренних аккумуляторов — и ничего. Машина оставалась в том же времени.

На проблему передвижения во времени махнули рукой, и некоторые теоретики даже провозгласили аксиому о невозможности передвижения по временной оси с сохранением пространственных координат.

Но у Мануэля Рекуэрдоса, слава богу, была своя голова на плечах, и плевал он на все эти скороспелые аксиомы, взращенные на тощих хлебах полузапрещенных, кустарных экспериментов.

Он верил в свою удачу, в свое постоянное везенье, и ему таки повезло: он провел эксперимент в том же виде, как и его предшественники, он скрупулезно повторил все то, что сделали они, — он и ставил себе задачей на первый раз «начать с печки», чтобы яснее увидеть, где, на каком повороте все повторяют одну и ту же ошибку; он скопировал старый опыт, чтобы потом найти свое, оригинальное решение, и вместо неудачи на первом же запуске он перемахнул через целое столетие с лихой скоростью около двадцати пяти лет в секунду, и теперь его Машина стояла...

Стояла? Предчувствие разрешения тайны подтолкнуло его, он наклонился над приборной доской, слабо мерцавшей в свете единственной сигнальной лампочки.

Стрелка скорости стояла не на нуле.

Совсем крошечный промежуток отделял ее от конечной черты, и скорость Машины была предельно малой — меньше двух секунд в секунду, сущая ерунда. Шелковый пестрый шнурок, заменявший Мануэлю галстук и развязанный за минуту до старта, скользнул на самодельный пульт управления и не позволил довести движок реостата до упора.

Машина медленно плыла вперед.

Мануэль шумно выдохнул воздух. Как все просто, как все очевидно! Жаль только, что сейчас не время поразмыслить над этим, кое-что прикинуть, сформулировать. Сейчас — голый эксперимент, наблюдения и только наблюдения — ах ты черт, так был уверен в первой неудаче, что даже не прихватил с собой фотоаппарата! — потому что, кто знает, когда ему удастся получить разрешение на новый полет — как-никак, а эксперименты такого рода запрещены. Если бы его постигла неудача, то опыт легко было бы скрыть, но теперь и Бриан не выдержит — проболтается, собака, да и зачем молчать, когда она на ладони — аксиома Рекуэрдоса, и она проста как дважды два: если движение в пространстве ограничено по скоростям сверху — скорость света, то при движении во времени скорость ограничена снизу — она не может быть нулевой! Сколь угодно малая скорость, но только не остановка. Почему? Это надо еще обмозговать, покрутить так и эдак, доказать предельно строго с точки зрения математики и философии. Пусть Бриан этим занимается, леший с ним, будет аксиома Рекуэрдоса и Викерзунда. Сейчас же очевидно одно: при каждом броске вперед надо следить, чтобы Машина не остановилась, иначе она мгновенно будет отброшена назад, в исходную точку, как это и происходило раньше.

В сущности, и предыдущая аксиома в какой-то степени верна — теперь ясно, что невозможно перебросить материальное тело из одного времени в другое, оставаясь на своем месте, как о том мечтали многочисленные сказочники от науки. Субсветовые скорости космических кораблей и при этом парадокс времени — совсем другое дело, там экстремальные перемещения в пространстве. Но вылезть из Машины Времени невозможно. Поэтому исключены героические десанты, хулиганские вылазки с воровскими целями и даже просто прогулки. Из других времен ничего нельзя взять, в другие времена ничего нельзя сбыть.

Но пролететь мимо и посмотреть...

Вот они, два ученых мужа будущего столетия. Они смешно взмахивают руками и бегают по залу семенящими шажками, словно актеры немых фильмов прошлого. Скорость их движений почти удвоена, и сейчас на их лицах нет прежней застывшей улыбки — быстрая смена выражений воспринимается со стороны как гримасы неумело разыгранной клоунады.

«Мелкие беды едва начавшегося дня, — подумал Рекуэрдос. — Мне бы да их заботы!»

Он глянул еще раз на широкие двери, распахнутые в знойное субтропическое утро, на белую дорогу, бегущую от порога этих дверей вниз, по склону холма, на красную черепичную кровлю императорской виллы и, придерживая одной рукой шелковистую змейку шнурка, бросил Машину еще на столетие вперед.

Неистовая серая сумятица переходного момента, легкая тошнота — и ослепительный, звонкий свет.

Прозрачный купол, подобный опрокинутому бокалу богемского стекла, — золотисто-медовый, словно подсвеченный подземным огнем внизу, затем дымчато-серый, неощутимый, и сразу же неистовая голубизна, и ласточки, стремительно залетающие в узкие отверстия, едва угадываемые у самой вершины купола, чтобы выкупаться в солнечном сиянии и бесшумно исчезнуть...

Кто-то копошился на полу, и Мануэль, приглядевшись, понял, что это металлические сороконожки, которые бегают, лихо задрав хвостики, и тыкаются усатыми головками в разноцветные кнопки, торчащие прямо из пола.

И снова главным было не сияние головокружительно вздымавшихся сводов и не разумная суета одушевленных машинок, а то, что все это, мудрое и прекрасное, есть, есть, есть на Земле!..

— ...Прозрачный купол, — Неттлтон стиснул кулаки и поднял их к лицу, — прозрачный купол, подобный опрокинутому бокалу богемского стекла, золотисто-медовый, словно подсвеченный подземным огнем внизу, затем дымчато-серый, неощутимый, и сразу же неистовая голубизна, и ласточки, слышите, Нид, ласточки, стремительно залетающие в узкие отверстия, едва угадываемые у самой вершины купола, чтобы выкупаться в солнечном сиянии и так же бесшумно исчезнуть...

«Хорошо, что Рекуэрдоса уже нет в нашем времени, — подумал Нид. — Хорошо, что он не видит этого отчаянья...»

— Но откуда все это? Он говорил об этом перед самой смертью, а перед смертью не лгут. Перед смертью только бредят. Бредят? А, доктор Сэами? Никто лучше вас не разбирается в человеческой психологии, так скажите — может, он вообще ничего не видел? Бред? Больное воображение? Желание оставить после себя хотя бы сказку?

— Он видел, — сказал Нид.

— Но что, что? Сегодняшнее утро — да, и два старика, и девушка в розовом; мы знали, что он должен нас увидеть, и мы пришли сюда, мы все, вольно или невольно, творили будущее для Рекуэрдоса — и белый зал, и лиловые

доски пультов, и никому не нужная допотопная вилла... Если бы не описание, сделанное в прошлом, все это делалось бы и строилось по-другому. Но, зная, что именно должно быть, мы не могли сделать иначе. Мы искренне играли свою роль. Но потом? Ласточки, купающиеся в солнечном сиянии... Вы психолог, Нид, но даже вы должны знать физику настолько, чтобы понять: после прохождения этой блуждающей туманности на Земле не останется не только ласточки, но и самой примитивной амебы. Все произойдет быстро, очень быстро, и по-прежнему будут стоять дома, виллы, хрустальные купола. Излучение не причинит вреда камням и металлу. Не останется только нас — бабочек, птиц, людей. И мы бессильны, Нид, мы бессильны...

— Но он видел, — повторил Нид Сэами, — и то, что он видел, стало счастьем и надеждой целого столетия в истории людей.

— Он бредил! — вне себя крикнул Доменик. — Прах и тлен — вот что он видел! Несколько слов красивой лжи — ее хватило всему человечеству ровно на столетие. Нет, он не бредил — он лгал, и если бы на его месте был я — я тоже солгал бы!

Нид Сэами медленно покачал головой.

— Но Мануэль Рекуэрдос не был мудрецом. Он был просто отчаянно везучим мальчишкой. Если бы он погиб сразу же после своего возвращения из будущего, я еще мог бы усомниться в правдивости его рассказов. Но между Пальма-да-Бало и Орли прошло около суток, и все эти часы он был искренне и неподдельно счастлив. И если Рекуэрдос не увидит своего сверкающего купола и ласточек в его вышине, если он не увидит потом склона, усеянного мелкими горными маками, и девочки с рогатой улиткой на ладошке, если он не увидит синего кольца космодрома с матовыми каплями фантастических кораблей, — отдаете ли вы себе отчет, Доменик, что будет отнято у пяти миллиардов людей целого столетия?

— Чего вы от меня хотите, Нид?

— Действий. Время идет, Доменик. Собирайте людей. Даже Верховный Совет Мира еще не осведомлен в полной мере о том, что надвигается на Землю.

— У меня не хватит сил произнести это, не хватит сил...

— Хорошо, — сказал доктор Сэами. — Совету доложу я. Подите к себе и отдохните, Доменик. На эти двадцать два дня нам потребуются все наши силы и все наше мужество.

— Зачем? — устало спросил Неттлтон.

— Затем, чтобы Мануэль Рекуэрдос увидел то, что он должен увидеть, — твердо проговорил Нид Сэами. — Увидел, даже если на Земле действительно не останется ни одной бабочки, ни одной птицы, ни одной живой души.

— Вы хотите построить на этом месте прозрачный купол? А ласточки?

— Строить его ни к чему, это здание закрытого катка в Кабуле, и ласточки действительно вьются у самой его вершины.

— За двадцать два дня его сюда не перенести.

— Ничего не надо переносить, Доменик. Ведь вслед за этим куполом Рекуэрдос должен увидеть склон, усеянный рыжими маками, а еще через столетие — космодром. Вы поняли меня, Доменик? Все это нужно отснять, и точная аппаратура, которой не страшно излучение блуждающей туманности, один раз в столетие, строго в рассчитанный миг, будет проектировать на сферический экран, который мы должны успеть расположить в этом зале, картины сказочного будущего Земли.

— Будущее для одного Рекуэрдоса...

— Будущее для пяти миллиардов людей, Доменик! Счастье, надежда и спокойствие целого столетия.

— Нам понадобятся помощники, Нид.

— Я думаю, их будет достаточно.

— И съемочная аппаратура.

— Нам дадут лучшую.

— И каменистый склон, усеянный рыжими коротконогими маками.

— Найдем в Альпах и спечатаем с нашим дальним планом.

— И механическая игрушка, которую можно было бы выдать за многоопорного кибера...

...Каменистый склон, усеянный рыжими коротконогими маками. Ни зала с лиловыми пультами, ни хрустального купола. Склон пуст — исчезла белая дорога, спускавшаяся к императорской вилле, исчезла и сама вилла, располагавшаяся у подножия холма. И никаких следов разрушения — прошло всего-навсего сто лет, руины простояли бы дольше. По всей вероятности, здания просто перенесены в другое место, вот и трек на склоне — прошел громадный гусеничный механизм. Неужели не осталось ни одного человека на этом холме?

И тут откуда-то справа появилось кудрявое существо лет четырех, спускавшееся по крутому склону самым естественным образом — на пятой точке. Пестрые штанишки на лямочках, правая рука занята — на ладошке большая виноградная улитка.

Девочка выпрямилась, поднесла свою находку к самому носу и подула на темно-лиловый завиток.

Мануэль засмеялся. Надо было делать совсем не так, надо было попрыгать на одной ноге и спеть магическую песенку:

Улитка, улитка, высуни рога —
Дам тебе хлеба, кусок пирога!

Но улитка оказалась на редкость некоммуникабельной, и каждый остался при своем: девочка осторожно опустила ее на землю, а сама побежала дальше, по склону пустого холма, и мелкие маки шлепали ее по голым ногам, не доставая до коленок.

Пожалуй, впервые за все путешествие Рекуэрдос остро пожалел, что не может выскочить из Машины, чтобы догнать этого беззаботного чертенка в пестрых штанишках, безнадежно выпачканных травой. Мануэлю невольно припомнились не очень-то симпатичные вундеркинды, коими в обилии населяли наше будущее иные фантасты — сопливые вундеркинды, от горшка два вершка, а уже берущие нетабличные интегралы и пристающие к прохожим со своим оригинальным доказательством теоремы Ферма...

Он искренне жалел, что не может ринуться за этой девчушкой вниз по склону; они бежали бы рядом, оставляя за собой две дорожки осыпавшихся лепестков, а потом он показал бы ей одно из маленьких чудес, которые взрослые между собой презрительно называют фокусами, и еще сказал бы ей, что он добрый волшебник Рекуэрдос, и ему триста лет и двадцать четыре года, и она поверила бы ему.

Но остановить Машину и выйти из нее было невозможно, и Мануэль, глянув на указатель энергоподачи, понял, что аккумуляторов его хватит только-только на один столетний перелет, и он бросил Машину в последний прыжок, в последний поиск, и мир, завершивший его путешествие, был миром, устремленным к звездам.

Насколько он понял, Машина оказалась где-то между стальными опорами наблюдательной башни, устремленной высоко в небо и ис-

чезающей за верхней кромкой узкого иллюминатора. Крупноячеистая защитная сетка подрагивала перед самым стеклом, а внизу, опоясывая подножие холма, замкнулось огромное темно-синее кольцо, которое он в первый момент принял за морскую воду.

Но это была не вода, а бетонное покрытие стартовой площадки космодрома, от которой ежеминутно отрывались и плавно взмывали ввысь исполинские туши каплеобразных кораблей. Они набирали высоту легко и беззвучно, но нетрудно было угадать, какие вихри разрывают воздух на Пальма-да-Бало, потому что массивная металлическая сеть трепетала и натягивалась, едва не касаясь иллюминатора Машины. Корабли растворялись в плотной голубизне сивилийского неба, и в этом месте, где они исчезали, несколько секунд спустя развертывался, словно пунцовая гвоздика, стронциевый бутон стартовой вспышки внепланетных двигателей.

Теперь Мануэлю стало ясно, почему в прошлом столетии обезлюдел этот холм. Он готовился принять на себя тяжесть синего бетонного кольца, и Рекуэрдос пожалел, что двинул верньер указателя времени назначения на целые сто лет и пропустил такое великолепное зрелище, как строительство космодрома будущего. Надо было прыгать два раза по пятьдесят, но теперь было поздно сожалеть об этом, тем более что по ручным часам Рекуэрдоса прошло уже более сорока минут.

Не надо жадничать. Ведь это всего-навсего пробный запуск, и там, четыреста лет назад, на развалинах древней базилики, изнывая от нетерпения и тревоги, ждет Викерзунд. Надо возвращаться. Ему и в голову не пришло, что, преданный Брианом, он попадет прямехонько в лапы полиции, уже оцепившей холм, — властям успели напомнить о том, что любые опыты по перемещению во времени официально запрещены. До самого вечера он будет разбирать свою Машину и грузить ее в самолет, и на рассвете этот самолет поднимется и возьмет курс на Орли.

И разобьется вместе с Машиной и обоими ее создателями.

До чего же хорошо было смотреть на мир, отдаленный четырьмя столетиями, и совершенно не думать о завтрашнем дне! Но минуты шли, и столбик энергометра едва-едва подымался над нулевым уровнем. «Пусть стартует еще один звездолет, — разрешил себе Мануэль. — Еще один корабль, и я вернусь».

Он прижался лбом к тепловатому плексу иллюминатора.

Непомерно тяжелая на вид капля, отливая ртутным блеском, поднялась с дальнего края поля и пошла вверх, стремительно наращивая скорость.

Все.

Мануэль выдернул шелковый шнур, зажатый движком реостата возле самой нулевой черты, и остановил Машину. И в тот же миг неодолимая сила несовместимости времен отбросила его назад, в исходную точку его полета.

...Непомерно тяжелая на вид капля, отливая ртутным блеском, поднялась с дальнего края поля и пошла вверх, стремительно наращивая скорость.

Затем проекционная аппаратура автоматически выключилась, и изображение исчезло.

— Все, — сказал Доменик, — мы сделали все, что могли.

Нид кивнул головой. Действительно, все возможное было сделано.

— Но у нас в запасе еще почти восемь дней. — Сферический экран был пуст, и только беспокойная тень Неттлтона металась по нему, словно птица, разучившаяся летать. — Что же делать теперь? Проверять еще раз всю систему?

— Нет, — сказал Нид. — Я плохо разбираюсь в надежности схем и приборов, но я наблюдал за всем монтажом и понял, что во всей этой огромной работе не может быть ни одного промаха, ни одной ошибки. Ведь это последнее дело рук человеческих, Доменик. Последняя работа. Она выполнена на совесть.

— На совесть — и преждевременно. Восемь дней впереди, восемь бесконечных дней, за которые ничего не придумаешь, ничего не сделаешь! Восемь дней собственного бессилия...

— Она не замедлила движения?

— Напротив. Перед ней Солнце, и она разгоняется, точно хищник, почуявший плоть и кровь; она набирает скорость и вытягивается в одно огромное, нацеленное на Солнце щупальце.

— М-да, когда она подходила к нашей системе, ее форма напоминала гигантский боб. А может...

— Что? — быстро спросил Доменик.

— Может быть, в изменении формы...

Неттлтон усмехнулся, и улыбка эта была далека от той, которую видел Рекуэрдос.

— Надежда? Нет, друг мой. Концентрация ударной силы. Разогнанная притяжением Солнца, туманность обтечет его со всех сторон и помчится дальше. А дальше на ее пути будет Земля.

— Значит, ничего не изменится...

— Ничего, Нид. Разве что все произойдет за меньшую долю миллисекунды, чем мы первоначально предполагали.

Нид Сэами прошелся по залу. Ослепительно белый сферический экран, выросший за несколько дней, и за ним не видно ни окон, ни двери, всегда распахнутой в сад, где над зеленью платанов всплывает, точно панцирь морской черепахи, крыша летней усадьбы римского императора. И одна мысль, алебастровым непроницаемым экраном загораживающая весь мир, — доля миллисекунды. Мизерный осколок времени, которым люди пренебрегают, существующий разве что для физиков, неспособный вместить в себя ни тяжелолиственный, одушевленный шум платановой рощи, ни металлический треск цикад, ни всхлип человеческого дыхания. Доля миллисекунды — это так мало, что невозможно будет уловить, что же из всего этого затихнет первым.

Тени двух человек встретились на белом экране. Они так давно знали друг друга — Нид Сэами и Доменик Неттлтон, что мысли одного были ясны для другого. Оба думали об одном. Вся мыслимая работа была позади, и бояться было нечего — насколько можно ничего не бояться перед лицом неминуемой гибели, — и Доменик, не страшась показаться слабейшим, произнес вслух:

— Единственное, чего бы я не хотел, если бы имел возможность выбора, — это остаться в этой миллисекунде последним...

— Никто из нас не будет последним, — отвечал ему Нид Сэами, — потому что после нас останутся сказочные миражи, которым мы сами так хотели бы поверить. Словно маяки, они будут вспыхивать в назначенный срок, даря пяти миллиардам людей счастье уверенности в своем будущем, в том, что они работают не напрасно. Никто никогда не узнает — некому будет узнавать, — чего стоил нам этот наш труд. Пожалуй, именно нам с вами, Доменик, виднее всего, чего он стоил. Зато и награждены мы за свое дело так, как никто из людей. Мы увидели, чего оно стоило даже через



сто лет. Те, кто создает для будущего, ради будущего, награждены надеждой; мы создавали будущее для прошлого — и нам досталась уверенность в пользе своего дела, ибо прожитый человечеством век — очень важный в истории Земли, и мы это знаем. Рекуэрдос жил при капитализме. Столетие, что легло между нами, знало острую социальную борьбу и социальные катаклизмы. Но мы-то живем в другом мире. Коммунизм — это же не просто иной социальный строй. Мы увидели планету в расцвете. Ведь это достаточная награда за наше мужество, не так ли, Доменик?

...Непомерно тяжелая на вид капля, отливая ртутным блеском, поднялась с дальнего края поля и пошла вверх, стремительно наращивая скорость. Все.

И безжизненная белизна экрана.

А затем раздался детский смех.

— Да это же просто воздушные шарики! — в восторге кричал какой-то мальчишка.

— Не нужно смеяться, малыш,— проговорил совсем еще молодой человек с голубоватым лицом, какое бывает только у людей, которые родились в космосе.

Он включил двигатель своего левитра, и легкая скорлупка взмыла вверх, в утреннее фиалковое небо. Он опустился прямо на вершину белой полусферы, растворенной на юг, словно ворота из слоновой кости, через которые, как верили древние, приходят вещие сны.

Он посмотрел вокруг себя и увидел тысячи людей, которые стояли, сидели на траве или висели в воздухе на своих крошечных, чуть слышно жужжащих корабликах. Тысячи людей, которые собрались сюда для того, чтобы вместе с Мануэлем Рекуэрдосом, сквозь его невидимую Машину, посмотреть на дивный мираж, одинаково непохожий и на картину прошлого и на отражение настоящего.

Они его увидели, и светлая сказка, рассказанная три века назад о грядущем, об их мире, показалась им ожившим рисунком доброго ребенка.

И тогда человек, родившийся в космосе, заговорил.

— Не надо смеяться, малыш, — сказал он, и голос его был одинаково четко слышен и у подножия холма и даже самым дальним корабликам, висевшим в трех милях от Пальма-да-Бало. — Да, эти изображения, выполненные ровно триста лет назад, чем-то напоминают летающие велосипеды, которыми населяли мир будущего мечтатели времен Уэллса и Жюля Верна. И все-таки мы решили, что Мануэль Рекуэрдос должен увидеть именно эти наивные картинки, а не те межзвездные корабли, которые в действительности поднимаются сейчас с наших стартовых площадок. Разумеется, нам пришлось бы ограничиться показом стереофильма, потому что никому, кроме мечтателя далекого прошлого, не пришло бы в голову расположить современный космодром на острове, лежащем в самом густозаселенном море. Но не в том суть. Мы сохранили в целости миражи Неттлтона и Сэами не потому, что они были доступнее и понятнее для Рекуэрдоса, чем техника наших дней, работающая на принципах, непредставимых для Рекуэрдоса и его современников. Мы сделали это из уважения к воле и мужеству людей, которые даже перед лицом надвигающейся гибели смогли создать прекрасные сказки, сказки для безвозвратно ушедшего века, для людей, которые уже умерли...

Рекуэрдос не был великим ученым — честно говоря, он был просто талантливым и отчаянно везучим экспериментатором-интуитивистом. Мы никогда не узнаем, каким образом он открыл закон движения во времени — он погиб так быстро и так неожиданно, что не успел рассказать ни того, что было им сделано, ни того, что было задумано. Скорее всего, это открытие было чисто случайным и вытекало из какой-нибудь ошибки эксперимента. Но так или иначе — остров, на котором был поставлен этот небывалый опыт, все чаще стали связывать с именем погибшего ученого. Как будто сами собой пришли и остались в обиходе названия — павильон Рекуэрдоса, холм Рекуэрдоса, институт Рекуэрдоса и, наконец, остров Рекуэрдоса. Шесть рисунков, которые он сделал, пока был способен держать в руке карандаш, убедили человечество в реальном существовании такого будущего, каким его увидел Рекуэрдос. Но тогда перед футурологами встала новая проблема.

Будущее так же единственно и неизменимо, как и прошлое. Но не таково виденье этого будущего. Ведь если бы повторный запуск

ДВЕ НЕДЕЛИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ... Френсис Брентон, химик из Ливерпуля, все подсчитал точно... Направление и скорость воздушных течений, объем гелия, который заполнит оболочку воздушного шара, вес снаряжения и запасов еды. И, взвесив все, пришел к выводу, что его шар, взяв старт на одном из Канарских островов, совершит перелет через Атлантический океан и приземлится на Багамах ровно через четырнадцать дней.

...Никто еще не совершал перелет через Атлантику в корзине воздушного шара — такого проекта не было даже в ту пору, когда для путешествия под облаками шар был единственным средством. Лондонская «Дейли экспресс» преподнесла проект Френсиса Брентона как сенсацию дня. Но надо думать, что нашлись люди, встретившие это сообщение без тени удивления, — те, кому имя Френсиса Брентона попадалось в газетах и раньше. Семь лет назад Брентон провел в океане пятьдесят три дня, пытаясь на крошечном плоту, отплыв с тех же самых Канарских островов, обогнуть Африку и достичь западных берегов Индии... Пять лет спустя, на сто двадцать восьмой день путешествия через Атлантический океан в скорлупке-каноэ, Брентон едва не погиб во время шторма, но был спасен моряками проходившего поблизости судна... Теперь он строит огромный воздушный шар, готовясь в ближайшие месяцы начать свое новое путешествие...

...Путешествие, в которое он не берет... ни капли воды. Журналистам Брентон заявил: «Каждый может обойтись без питьевой воды во время длительного путешествия по морю. Влажность океана вызывает в организме процесс, обратный жажде, притупляет ее — поэтому человек в океане может лишить себя питья на некоторое время. Нужна лишь воля. Я знаю случаи, когда потерпевшие кораблекрушение много дней — больше, чем две недели, — обходились без пресной воды и оставались живы...»

Нет среди снаряжения, запланированного Брентоном, и секстанта. Он уверен, что рассчитал направление воздушных потоков на разных высотах настолько точно, что доберется до места посадки и без ежедневного определения координат...

...Без воды и, по сути дела, вслепую? Но, как утверждают, Френсис Брентон твердо верит в успех. Впрочем, когда он под-

Машины был осуществлен на ближайшем от нас острове, превращенном в заповедник гигантских рептилий, боюсь, что люди долго оплакивали бы гибель человечества от допотопных звероящеров, непостижимым образом возродившихся на Земле. И некоторые ученые полагали, что неоднократное вторжение Машины в будущее, равно как и частое выпадение ее из настоящего, может создать предпосылки для отклонения в логическом развитии истории Земли. Впрочем, в те времена вряд ли кому-нибудь удалось бы повторить опыт Рекуэрдоса: нам известно, что после гибели Машины вместе со всеми чертежами и набросками — по какой-то несчастной неосторожности ученый решил взять с собой в Париж все свои бумаги, не оставив в Пальма-да-Бало ни одной копии, — было высказано предположение, что Рекуэрдос создал принципиально новую конструкцию межвременного двигателя. По этому пути и пошли все последователи Мануэля. Несмотря на официальное запрещение, которое стало с тех пор соблюдаться более строго. Но все попытки были обречены на провал, и заслуга повторного открытия принадлежала не физику, а психологу.

Нид Сэами — это он обратил внимание на несоответствие между рассказом Рекуэрдоса о стремительности движений ученых и действительной картиной. И тогда он вывел априорное предположение о возможности передвижения во времени на предельно малых скоростях, с тем чтобы наблюдать события других времен, не вмешиваясь в них. Он записал свою мысль, но не поделился ею ни с кем, и лишь спустя три века мы нашли эту запись в его бумагах.

Вот так прошел первый век предсказанного будущего, век, ограниченный фигурами Мануэля Рекуэрдоса — с одной стороны, и Неттлтона и Сэами — с другой. А дальше было то, что вы хорошо знаете из истории, — наша система встретилась с блуждающей туманностью. Астрономы Земли никогда не сталкивались с подобным явлением и не могли предположить, что огромная туманность вся целиком будет притянута Солнцем и осядет на его поверхности, вызвав только чудовищный выброс протуберанцев. Человечество было уверено в своей гибели, ведь спастись на другие планеты и искусственные спутники не представлялось возможным — первоначальный фронт туманности перекрывал все уголки нашей системы, куда ступила нога человека к тому времени.

Когда же опасность миновала, люди решили не разрушать установки, созданной под руководством Неттлтона и Сэами, и Сивилия стала островом Светлых Маяков.

Сегодня последний из этих маяков догорел. Машина Мануэля Рекуэрдоса вернулась в свою исходную точку, а мы... Мы и так уверены в том, что наше завтра светло и прекрасно, и даже если бы мы увидели его, увидели раньше времени, — все равно, придя в свой срок, оно, оставаясь таким же, каким мы его подглядели, было бы в тысячу раз прекраснее одним только тем, что оно есть на самом деле, что оно — сама жизнь. А то, что мы еще не открыли, не изобрели, не додумали, — все это мы возьмем своими руками.

Вот история этого острова, но сегодня я хотел говорить о другом. Последний Светлый Маяк догорел на Сивилии, но мне кажется, что память об этом должна быть увековечена в названии острова, и оно должно быть связано с воспоминанием о самых сильных и самых добрых людях, когда-либо ступавших по ее каменистой почве. Но, к сожалению, из десятков и сотен добровольцев, зажегших эти маяки, мы знаем только два имени: Доменик Неттлтон и Нид Сэами. Назвать остров их именами было бы несправедливостью перед всеми остальными — безымянными.

Так пусть же Сивилия зовется так, чтобы при упоминании этого названия вспоминались все эти люди, — пусть она зовется Островом Мужества.

Человек, рожденный не на Земле, замолк и обвел взглядом всех людей, собравшихся вокруг белой раковины маяка. Все молчали, потому что были согласны с ним, и голубые огни — знак этого согласия — загорались на носу каждого кораблика.

И только мальчишке, наполовину свесившемуся из люка левитра, этого молчаливого согласия было мало, и поэтому он замахал руками и крикнул:

— Принято, капитан!

ЗАГАДКИ ПРОЕКТЫ ОТКРЫТИЯ

нимется в воздух, кто-нибудь из провожающих, может быть, подметит одну странную деталь в конструкции воздушного шара. К корзине, в которой смельчак собирается провести четырнадцать дней, будет подвешен... маленький деревянный плот — на тот случай, если в полете вдруг выяснится, что чего-то Френсис Брентон так и не предусмотрел...

НАЙДЕНА «САНТА-МАРИЯ»?

Такой заголовок появился недавно во французской газете «Юманите». Археолог Фред Диксон и олимпийский чемпион по плаванию Адольф Кеффер, исследуя восточное побережье острова Гаити, среди прочих находок сделали и такую — подняли с прибрежного дна несколько обломков затонувшей здесь когда-то испанской каравеллы...

Впрочем, вряд ли сообщение об этом показалось бы примечательным — мало ли испанских кораблей в боях и штормах находили на дне Карибского моря последнюю пристань. Если бы не одна деталь — Фред Диксон и Адольф Кеффер заранее знали, что это был за корабль...

...25 декабря 1492 года в нескольких десятках метров от берега Гаити судно, плывшее с Кубы, прочно село на мель. С помощью гаитян испанские моряки переправили на берег снятые с каравеллы пушки, груз и припасы. Каравелла осталась на отмели, все больше и больше погружаясь в песок. И вскоре волны скрыли даже надпись — «Санта-Мария»...

Итак, место, где Фред Диксон и Адольф Кеффер обнаружили обломки старинного испанского судна, почти в точности совпадает с описаниями современников, видевших своими глазами гибель знаменитой «Санта-Марии», флагманского корабля Христофора Колумба. Значит, найдена «Санта-Мария»? Так считают Фред Диксон и Адольф Кеффер. Но кто скажет, так ли это в действительности? Чтобы ответить на этот вопрос точно, надо поднять на поверхность обломки судна, скрытые слоем песка и ила. Фред Диксон и Адольф Кеффер заняты сейчас решением одной из самых сложных проблем — поиском необходимых средств...

(По страницам советской и зарубежной печати)



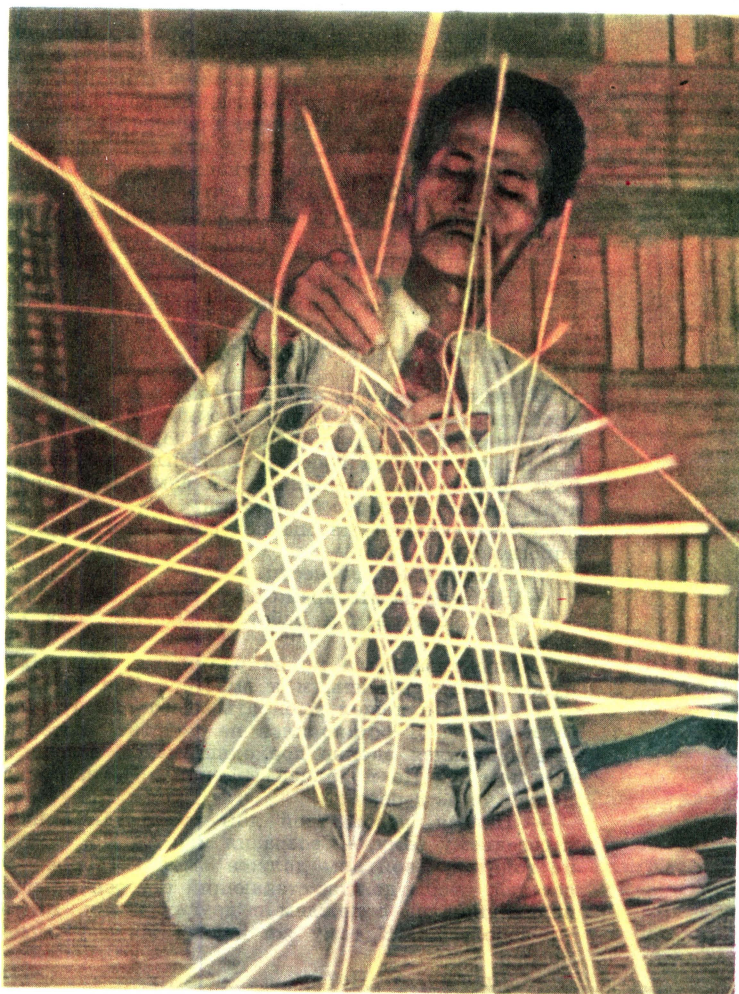
Добрые духи ЛУА

ПИТЕР КУНСТАДЕР, американский этнограф

ОДНОМУ ЖИТЬ — ВЕСЕЛЬЯ НЕ ЗНАТЬ

Холодным утром, когда мы уютно дремали в спальных мешках, человек, с которым мы накануне встретились на деревенской улице, поднялся по лестнице нашего бамбукового дома. Войдя в нашу единственную комнату, он присел в углу и стал молча наблюдать за тем, как мы просыпались, с трудом продирая глаза. Затем подошел ближе и снова сел на корточки, устроившись в узком пространстве между двумя надувными матрасами.

Мало кто из ученых может похвастать тем, что воочию видел жизнь луа. Если бы за ними водилась грозная слава «охотников за черепами», у луа не было бы отбоя от путешественников. Но луа — мирные земледельцы, да к тому же живут они в весьма труднодоступном горном районе северо-западного Таиланда, недалеко от бирманской границы. А между тем это племя интереснейшее. Дело в том, что народы мон-кхмерской языковой группы, к которой относятся луа, издревле населяют Индокитайский полуостров. Некоторые из них, например моны и кхмеры, еще две тысячи лет назад создали государства, в то время как другие (и среди них луа) были оттеснены в отдаленные горные районы. Много веков они жили там в условиях изоляции и даже в наше время едва вышли из первобытнообщинного строя. Поэтому изучение этого слабо знакомого науке народа поможет пролить свет на многие загадки происхождения мон-кхмерских народов, на многие проблемы древней истории Индокитая.



Полусонный, я спросил, что ему надо. Оказалось, он хотел с нами познакомиться. Разве в нашей стране люди не ходят в гости друг к другу?

Удовлетворив любопытство, он поспешил в деревню с новостями. Едва мы успели набросить на себя одежду, как прибыли новые гости. В дальнейшем-то мы научились принимать визиты наших друзей не только на заре, но и в любое время дня и ночи как само собой разумеющееся.

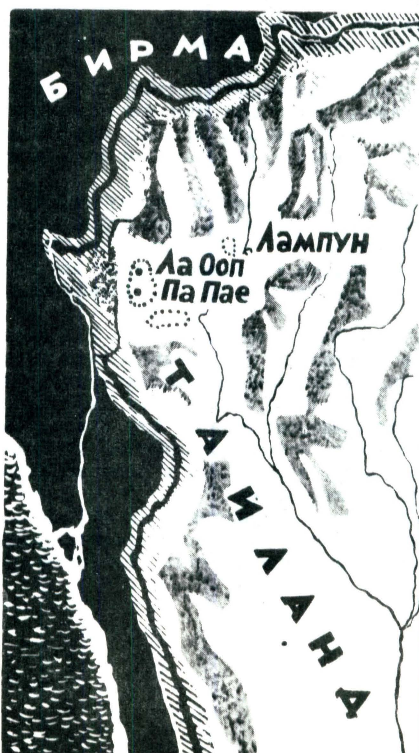
— Луа всегда держат двери открытыми, кхан Питер, — объяснил мне Аи По, который жил по соседству. — Жить одному — веселья не знать!

Трудно вообразить лучшие условия для антропологов: за все время нашей жизни в деревне Па Пае мы не знали одиночества. Мы научились уважать и понимать законы этих добродушных людей, а заодно кое-как разбираться в иерархии полчища духов, населяющих их мир.

Дух, который привел нас в Па Пае, был, несомненно, благожелателен к нам, ибо луа — самый дружелюбный народ из всех, какие мне только довелось повидать. Луа всего около десяти тысяч. Они расселились в трех десятках горных деревень. Правда, о дружелюбии луа мы узнали, лишь пожив в Па Пае, пока же мы добирались до деревушки, меня терзал нешуточный страх. Дело в том, что еще дома накануне отъезда я получил письмо от одного француза-миссионера, в котором тот писал, что луа — это то же племя, что и уа, охотники за черепами, обитающие в северной Бирме. Правда, мои сведения о луа отличались от этих, и это меня немного успокаивало.

На исходе дня, когда мы подходили к поселку, до нас донеслось мерное «ка-танг», «ка-танг» — это женщины толкли рис. Скоро нам навстречу высыпали ребятишки, за ними целая толпа взрослых, а через несколько минут появился высокий человек с гривой седых волос. В руках у него была бутылка плаи—неочищенной рисовой водки, достаточно крепкой, как выяснилось, чтобы свалить с ног любого приверженца виски.

Высокого старика звали Кае Та Кхан, и он был вождем поселка и одновременно великим самангом — жрецом. Саманги ведут свою родословную от одного из древних королей луа и распоряжают-





ся на всех обрядах племени, кроме похорон: стоит самангу ступить на кладбище, как он мгновенно утрачивает все свои знания. Помимо знаков нематериального уважения, саманг получает ногу каждой свиньи, которую приносят в жертву во время сеяния риса, и ногу каждого крупного животного, убитого и пойманного в джунглях.

Я объяснил Кае Та Кхану, что мы с моей женой Салли хотели бы пожить в его деревне и познакомиться с жизнью луа. Наше желание ему пришлось по душе — он был доволен, что о луа узнают другие народы.

— Живите у нас, сколько хотите! — сказал он.

ЕСЛИ СЛОН ЗАДЕНЕТ ТВОЙ ДОМ

В первый же день перед нами встала серьезная проблема — нужно было срочно обзаводиться теплым жильем, так как ночи в горах холодные. Аи По, наш будущий сосед, согласился выполнять роль подрядчика, поскольку мы сами, как строители, были абсолютно беспомощны.

— За сколько же мы построим наш дом? — спросил я.

— Может быть, за месяц.

— Но ведь за это время мы успеем замерзнуть!

— Мы постараемся работать быстрее. Две недели.

Перспектива была не из радужных, тем более нужно было спешить, и я вместе с Кае Та Кханом и Аи По пошел выбирать место для будущего жилища. Я остановился на участке, который мне показался вполне подходящим: по соседству с домом Аи По и вблизи главной дороги, проходящей через деревню.

— Нельзя, чтобы твой дом стоял так близко к соседнему дому, — возразил мне Аи По. — Так не годится. Твой дом должен быть в стороне от соседей, чтобы дождь, стекающий с твоей крыши, не смешивался с дождем с других крыш. Иначе ты заболеешь. К тому же нельзя жить у самой дороги.

— Почему, Аи По?

— Потому что будет очень плохо, если слон заденет твой дом.

Пока Аи По набирал рабочих и готовил материалы, деревенский старейшина Пу Ди занялся не менее важным делом: созыванием духов жилища.

Вместо двух недель на строительство ушел всего один день, да перед этим три дня на подготовительные работы. По-видимому, Аи По просто не любил давать обязательств, которые мог не выполнить.

В Па Пае никому не придет в голову работать одному, это все равно что жить одному, и поэтому в день строительства, как только рассвело, вокруг нашей площадки собрались почти все жители деревни — помочь или просто понаблюдать за работой.

Как только дом был поставлен, мы с Салли, по обычаю луа, поднялись по лестнице, неся с собой рис, хлопок, табак, деньги, новую одежду и другие символы счастливой жизни. Пу Ди созвал добрых духов, которые защищают дом и его обитателей, и принес в жертву цыпленка. С этого момента добрые духи поселились в доме и взяли нас под свое покровительство.

Сооружение очага — деревянной рамы, заполненной песком, доверяется только старым людям. Когда был разожжен первый огонь, Пу Ди и несколько других стариков сели по одну сторону очага, а остальные гости — по другую. Пу Ди запел монотонную, но довольно приятную для слуха песню. Он желал обитателям нового жилища долгих лет жизни, множества свиней, цыплят и буйволов, а также изобилия риса. Один из гостей ответил песней-вопросом:

— Уверен ли ты, что в доме достаточно пищи?

Тогда Пу Ди, тоже песней, заверил:

— Все будет хорошо. В доме хватит еды на всех.

Около полуночи, когда на веранде еще пели самые выносливые, на лестницу поднялся встревоженный гонец.

— Кхан Питер, выйди, пожалуйста!

— Что случилось?

— Кхан Мюанг очень болен.

У меня оборвалось сердце. Этот мальчик еще днем работал вместе со всеми на строительстве моего дома. А вдруг у него аппендицит или что-нибудь в этом роде? Вряд ли мне в таком случае помогут мои антропологические знания. К тому же меня того и гляди обвинят в том, что я привел с собой злых духов.

Дом, где жил Кхан Мюанг, был полон людей. Вокруг мальчика собрались родственники, друзья и знакомые. Одни растирали ему руки и ноги, другие просто сидели и тихонько разговаривали. Кое-кто захватил с собою одеяла на случай, если придется заночевать.

Мальчик жаловался на резь в желудке. Я дал ему несколько болеутоляющих пилюль. Ко всеобщему (и особенно моему) облегчению, он почувствовал себя лучше. В болезни был виновен не дух Кунстадера, и я спокойно ушел.

Едва я успел вернуться в свой новый дом, как прибыла другая чрезвычайная миссия. Нанг Монг, женщину тридцати лет, схватила судорога. Я дал ей успокоительного с горячим чаем. К счастью, она тоже почувствовала себя лучше. Моя репутация лекаря поднялась теперь высоко, и в дальнейшем я не раз об этом жалел, ибо почти каждое утро в Па Пае начиналось с вызова к больному или с приема пациентов, собиравшихся на веранде. Но, с другой стороны, несмотря на всю обременительность врачевания, я был доволен — отныне я стал для луа не сторонним наблюдателем, а полезным членом общества.

СУМАСШЕДШИЙ БУЙВОЛ

Как-то днем ко мне поднялся Аи По.

— Вечером я иду в Ла Ооп, — сказал он. — Женится один из моих родственников. Хочешь туда пойти? На свадьбах так весело!

Нужно ли этнографу задавать такие вопросы? Через три часа пути по лесу мы были в Ла Ооп. В доме жениха собрался отряд из десяти заговорщиков. Одиннадцатым был я. Мы дождались темноты, когда в деревне затихла жизнь, и после полуночи поспешили кружными тропами к дому невесты. Факелы зажечь было нельзя, но, по счастью, ярко светили звезды. Вся семья невесты мирно спала. Жених украдкой поднялся по лестнице и, схватив невесту за руки, выволок ее на веранду. Там девушку подхватили друзья жениха и, невзирая на ее плач (впрочем, не безутешный), понесли прочь, а я бежал следом и снимал со вспышкой.

Невеста уже несколько месяцев знала, что в одну прекрасную ночь будущий муж ее похитит. Сразу же после похищения отец невесты, который заранее знал тоже все, кроме времени похищения, помчался по деревне будить старейшин.

— Украли мою дочь! — кричал он на всю деревню. — Что теперь с ней стало?

Старейшины медленно и чинно направились к дому жениха, а тем временем остальные жители деревни начали готовиться к празднеству. Старейшины спросили у отца жениха:

— Не знаешь ли ты, где пропавшая девушка?

— Не знаю. Знаю только, что мой сын хочет жениться на ней. Они любят друг друга, — ответил он.

Родственники жениха отправились тем временем в дом невесты, чтобы обсудить размеры выкупа, а друзья жениха суматошно гонялись за свиньей, обреченной стать украшением пира.

Размеры выкупа точно определены традицией — шестнадцать совершенно истертых старинных серебряных монет. Однако та же традиция требует немилосердно торговаться. Семья невесты сказала семье жениха:

— И это все, что вы нам предлагаете? Да ведь она самая лучшая девушка в деревне!

— Вы что думаете, мы сделаны из денег? — отпарировала семья жениха.



После двух часов препирательств сошлись на шестнадцати монетах.

К вечеру следующего дня, вскоре после того, как мы вернулись в Па Пае, пришел брат жениха — тот самый, что разрешил мне делать снимки. Он поднялся к нам на веранду и, смущаясь, сказал:

— Невеста заболела. Свадьба не может продолжаться.

— Что с ней? Отчего она заболела?

— Из-за твоего яркого света.

В ту ночь я впервые снимал со вспышкой. Я спросил, чем больна невеста.

— Были обижены духи, — отвечал брат жениха. — Один поросенок их успокоит. А то невеста не выздоровеет.

Наши друзья из Па Пае, которые пришли узнать новости, ироническим фырканием выразили свое возмущение подобным вымогательством. Положение у меня, однако, было безвыходным, пришлось отдать деньги на поросенка, а в придачу я послал невесте успокоительного.

— Кхан Питер, — сказал мне мой друг Аи По, — если тебе захочется что-нибудь снимать, делай это возле нашей деревни. У нас здесь не так много злых духов, как у них в Ла Ооп. Ты уже всех нас снимал, но никто еще не приходил с жалобой.

Оставив на всякий случай фотоаппараты дома, мы с Салли снова отправились в Ла Ооп, чтобы увидеть свадьбу.

Отец невесты пожертвовал для свадьбы буйвола. Убой скота облагается налогом, обязанность собирать этот налог возложена на саманга. Луа нашли хитроумный способ обойти законы. Еще до зари в последний день свадьбы молодые люди из деревни Ла Ооп задушили веревкой буйвола и повесили его на толстом суку. Потом они прибежали к самангу и сказали:

— Буйвол сошел с ума! Он залез на дерево и повесился!

После нескольких минут самого серьезного размышления великий саманг ответил:

— Ну, раз уж такое случилось, придется его съесть.

НЕТ ЖЕРТВЫ ДЛЯ ДВЕНАДЦАТОГО

Моя коллекция росла. Луа приносили свои циновки, одежду, изображения духов. Не один десяток метров кинопленки запечатлел и строительство нашего дома, и свадьбу в Ла Ооп, и моих соседей из Па Пае за их обыденными занятиями. И все же я старался тратить пленку экономно, приберегая для главного — битвы за рис.

И вот в феврале она началась. Однажды Кае Та Кхан вместе с другими вождями отправился



осматривать облюбованный заранее горный склон, чтобы выбрать поля под новые посадки риса. Большей частью эти поля возделывались по старинной, освященной тысячелетиями системе. Луа практикуют подсечное земледелие, выращивая рис на расчищенных участках выжженного горного леса. Собрав урожай, луа оставляют землю лет на семь-девять под пар. К концу этого срока владельцы участков или их наследники возвращаются на старые места.

Луа сохраняют между полями лесные полосы — на случай пожара во время засухи. Тиковые леса тоже остаются нетронутыми, поскольку песчаная почва, на которой они растут, не пригодна для выращивания риса. Наконец, луа оставляют в неприкосновенности и девственные джунгли по двум, одинаково важным причинам: во-первых, там живут могущественные лесные духи, которые оскорбятся, если будет вырублен их лес; во-вторых, очень трудно валить растущие там гигантские деревья.

Право первого при выборе участка принадлежит верховному самангу. Затем старейшинам и вождям родов. После этого наступает черед остальных мужчин.

Духи не всегда благосклонны к луа. Поэтому каждый мужчина на всякий случай приносит на своем участке в жертву цыпленка.

После того как участки были поделены, каждая семья занялась расчисткой своего поля. Мужчины еще до зари наточили длинные, острые ножи и с восходом солнца отправились на поля. Я при-



соединился к одному из наших соседей, пожилому мужчине по имени Лоонг Та, и двум его сыновьям. Они решительно атаковали поросль, и тонкие деревца, опутанные лианами, так и падали под взмахами мачете. Я тоже попробовал поработать мачете. За четверть часа мне удалось срубить два деревца. Кисть руки совершенно онемела.

Весь день луа продвигались вверх по склону.

— Мы стараемся валить деревья так, чтобы они ложились ровно. Тогда они сгорят полностью, — объяснил мне Лоонг Та.

Деревья потолще они не трогали. Эти деревья переживут пожар и потом, когда поле оставят под пар, дадут начало новой поросли.

Был самый сухой и жаркий период года. Пока солнце сушило вырубленный кустарник, жители деревни чинили крыши, готовясь к яростному натиску муссонных дождей. Наконец великий саманг объявил, что пришла пора выжигать поля.

Ранним апрельским утром на краю деревни собрались старухи, держа в руках подносы с едой — приношением для духов. Громкими голосами они вызвали родовых духов и попросили их помощи в важном деле. (Только один раз в году — перед посевом — женщины играют главную роль в религиозных обрядах Па Пае.)

После этого старейшины отправились на поля и соорудили там двенадцать алтарей различным духам лесов, воды, полей и огня. Опять «повесился» большой буйвол, и было зарезано несколько цыплят. Мясо за вычетом крошечной доли для духов было разделено на сорок девять частей, на каждое хозяйство Па Пае. Четыре самые счастливые семьи получили по копыту буйвола. Затем Лоонг Та собрал маленькие кусочки мяса, клювы и когти цыплят и кончик хвоста буйвола и разложил их перед одиннадцатью алтарями.

Пу Ди, один из старейшин, который помогал Лоонг Та в этом ритуале, объяснил мне:

— Духи едят совсем мало, а мы — очень много.

— А почему вы приносите жертвы только на одиннадцать алтарей? — спросил я Лоонг Та.

— Если мы накормим всех двенадцать духов, огонь будет чересчур жарким, и нам с ним не справиться.

Вокруг высохших полей вырубили просеки. В полдень, когда установился нужный ветер, юноши зажгли длинные бамбуковые факелы и побежали вдоль основания склона, размахивая потрескивавшими факелами.

Вскоре от склона в небо поднялся гигантский столб пламени, рев от него разнесся далеко по горам. Тучи дыма застлали солнце, дождем осыпал-

ся пепел, будто рядом началось извержение вулкана.

Мы присели у ручья, а в вышине, над нашими головами, бушевал огонь. Настал миг, когда мне начало казаться, что двенадцатый дух, несмотря ни на что, тоже принялся за работу. Но я зря грешил на духа: через некоторое время пожар пошел на убыль.

Тем временем луа плели из бамбуковых побегов талиа — семейные знаки. Потом они поднялись и пошли по дымившейся земле к своим наделам, запросто ступая босыми ногами по раскаленному пеплу и даже по тлеющим углям. Я попытался сделать то же, но ретировался немедленно, ибо ощутил сильное жжение даже через толстые резиновые подметки. Каждый владелец участка установил на своей земле талиа и наскоро сотворил молитву, в которой уведомлял духов о том, что отныне эта земля принадлежит людям.

ЧТОБЫ НЕ УСЛЫШАЛ КАМЕНЬ...

Лес на будущих полях выжгли, но сажать рис еще было рано. В этот короткий перерыв между одной законченной работой и большим изнурительным трудом, который ждал их впереди, луа жили почти беспечно.

Понемногу жители Па Пае и ближних деревень привыкли к нам; они уже не удивлялись тому, что я фотографирую взрослых и детей, и тому, что, хотя я умею пользоваться разными сложными предметами, не понимаю порой вещей, которые им, нашим хозяевам, кажутся простыми и само собой разумеющимися.

Все это время я усердно записывал сказки и предания. Ведь предания могут пролить свет на происхождение народа, объяснить многие закономерности в его жизни. Может быть, они помогут мне узнать, откуда пришли сюда луа и почему они живут в горах?

Одну легенду мне рассказал Лоонг Та, с которым мы частенько сиживали на веранде, обсуждая подобные вопросы.

— Много лет назад, — однажды начал он, — до того еще, как пришли таи, народом луа правил король Кхан Луанг Виланка. От него и его князей ведут свое начало саманги. Король задумал жениться на Чам Теви, королеве народа мон, который жил рядом с луа. Королева не хотела выходить за него замуж, но потом все же дала согласие. При этом она, однако, поставила условие: король должен добросить копье с вершины Сусеп-горы, расположенной вблизи Чианг Маи, до ее дворца в городе Лампун.

Я прикинул расстояние — миль двадцать.

— Он бросил копье, — продолжал Лоонг Та, — и оно самую малость не долетело до дворца. Тогда Чам Теви, испугавшись, что со второго раза он добросит копье, подарила ему кусок ткани от своей рубашки, и Кхан Луанг Виланка повязал им голову как платком. Эта ткань так расслабила его, что он едва смог поднять копье. После этого поражения луа ушли в горы...

У луа, живущих к северу от Па Пае, другая легенда. Они считают, что их предки бежали в горы от огромного катящегося камня, который за ними гнался. После отчаянного бегства через долины Салвеен и Юам предкам удалось забраться в эти горы, не доступные камню, который не мог катиться вверх.

Огромный камень потерял их след и спросил птицу с белым хохолком, которая была тайным союзником луа, куда они скрылись. Птица — это был дрозд-пересмешник — сказала камню, что она тоже ищет луа и уже так давно, что ее хохолок поседел. А камень и по сей день не может найти луа.

Во время скитаний по окрестным деревням я увидел этот камень. Огромная скала в долине маленькой горной реки. Косматую вершину венчал старинный алтарь. Пока мы осматривали его, мимо прошли несколько луа. Ни один из них не проронил ни слова. Все луа знают, что, если они заговорят на своем языке там, где камень может услышать, он узнает их и снова погонится за ними. Я был поражен тем неподдельным страхом, с каким они спешили поскорее пройти мимо валуна.

Легенды мало помогли мне. Оставалось внимательно изучать обычаи луа, записывать мельчайшие подробности их быта, с тем чтобы уже дома, сравнив наши результаты с материалами исследователей, работавших у соседей луа — каренов и таи, — попытаться сделать какие-то выводы. Поскольку вся жизнь луа подчинена ритму работы на рисовых полях, именно там я старался проводить как можно больше времени.

МУЗЫКА СЕВА

В один прекрасный день Кае Та Кхан объявил, что поля готовы к севу.

Мы присоединились к большой компании родственников и друзей Лоонг Та и вместе с ними вышли на поле. У девушек на головах были огромные шляпы, защищавшие от лучей солнца. Юноши несли четырехметровые бамбуковые шесты с острыми железными наконечниками. К шестам были приделаны колокольчики, которые мелодично позванивали всякий раз, когда шест касался земли.

Когда начался сев, долина огласилась самой фантастической музыкой, какую я только слышал. Десятки шестов со звоном вонзались в землю — будто целый оркестр ксилофонов сопровождал сеятелей. Следом за мужчинами с шестами для рыхления почвы шли юноши, девушки и женщины, они бросали в каждую ямку по маленькой горстке риса.

Когда сев был закончен, в положенное время, определенное по весенней луне, великий саманг принес поросенка в жертву могущественному духу Чао Наи, обитающему на небе, и... пошел дождь.

От весенних дождей в горных реках подымается вода, а тропинки становятся скользкими и опасными. Поэтому до того, как пойдут майские дожди, жители Па Пае, нагрузившись корзинами с рисом прошлогоднего урожая, спускаются на ярмарку в Бан Мае Сарианг.

— Что ты собираешься купить на вырученные деньги? — спросил я своего соседа Аи По.

— Мне нужен новый нож, мотыга, спички и керосин, — ответил он. — И еще я, быть может, куплю вяленой рыбы и сладостей для моих детей. Им надоел один рис. Кому понравится есть только рис да рис?

— Это верно, — вставил Лоонг Та. — А вот таи лучше: они живут возле рынка, где можно купить много разной пищи.

С таи у луа отношения сложные: с одной стороны, луа признают, что таи умеют многое из того, что неведомо луа, зато луа куда лучше разбираются в духах и их повадках.

Лет сорок тому назад жители Па Пае наняли несколько крестьян таи, чтобы те научили их строить запруды и арыки. При этом луа само собой не забыли узнать, каким особым духам нужно тут поклоняться. После того как были прорыты и расчищены канавы, луа построили маленький домик для духов плотины. По какой-то причине вода не пошла по арыкам. Снова позвали одного из специалистов таи. Он проверил всю систему, срыл в одном месте запруду, но вода попрежнему не шла.

Тогда-то один из самангов догадался, в чем дело: ведь духи плотины тоже таи, значит и во время жертвоприношений надо обращаться к ним на языке таи.

Попробовали — и все стало на место. Правда, специалист-таи да и многие из молодых луа считали, что дело было в самой плотине, что-то там сначала не заладилось, но все же к духам плотины обращаются с тех пор только на тайском языке. И еще с той поры луа научились не только поддерживать добрые отношения с духами ирригационной системы. Они научились содержать ее в порядке, научились сами строить плотины и запруды. Ведь рис без воды не вырастишь.

ДУХАМ ХВАТИТ И СКОВОРОДКИ

За все время жизни среди луа я так и не смог до конца разобраться в запутанной иерархии духов, населяющих мир луа. Вера в духов помогает луа объяснять многие явления в жизни: болезни, засуху, дождь.

Капризные духи то и дело требуют жертв, но их капризы непостижимым образом иной раз совпадают с желаниями людей.

— Зачем это ты убил свинью, Аи По? — спрашивал, к примеру, я, зная, что в деревнях луа мало животных, и потому их забивают только по праздникам или по случаю чьей-нибудь болезни — в жертву.

— Я собираюсь просить у духов здоровья для моей матери.

— А я и не знал, что она больна.

— Она и не больна, — сказал он, — но мне очень захотелось свинины, а лишнее здоровье ей не помешает. Приходи к нам в гости.

Если же духи своевольничают и насылают болезнь, приходится выяснять, какой дух именно виноват и как его ублажить.

Спустя несколько недель, когда все еще лили дожди, Аи По стал жаловаться на слабость, жар и «тряску сердца». Сначала обратились ко мне. Пилюли, витамины, аспирин и антималярийные таблетки не помогали. Тогда его начали лечить жители деревни. В доме Аи По собралось человек двадцать. Самые старые сели возле больного.

Сперва они называли наугад имя виновного в болезни духа. Затем, не глядя, брали из кувшина Аи По несколько неочищенных зерен риса и считали их. Если число зерен оказывалось нечетным, подозреваемый дух был ни при чем, и они начинали все сначала, называя имя другого духа. Если число было четным, они проверяли свое предположение, повторяя эту процедуру до тех пор, пока четное число не выпадет трижды подряд. Это означало, что виновный в болезни дух выявлен.

После многих попыток, наконец, выпало нужное число четных чисел, и духу пообещали жертву, если Аи По выздоровеет. Однако он не выздоровел и через несколько дней, и тогда луа решили, что в болезни все же виновен другой дух. Было высказано предположение, что все дело в духе покойного отца Аи По. Вместе с деревенским старейшиной Пу Ди и несколькими молодыми людьми я отправился на кладбище, расположенное вдоль дороги неподалеку от деревни. Пу Ди вызвал дух отца Аи По и попросил его принять жертву. Затем Пу Ди подвел духа к алтарю. Остальные громко вопрошали, кто забрался в тело больного и был ли это действительно дух отца Аи По. После этого Пу Ди было велено отойти, и вся процедура повторилась еще раз. Луа всегда устраивают двойную проверку, когда вызывают духов умерших по имени.

Аи По все не выздоравливал, и тогда пришлось пригласить специалистов из другой деревни. На этот раз это были не луа, а карены, поселки которых перемешаны с деревнями луа в этих местах. Карены сказали, что болезнь вызвана несколькими причинами, в том числе и одним духом, который требует, чтобы ему поднесли большой бронзовый барабан. Барабан обошелся бы не в одну сотню бат, а таких денег ни один луа отродясь в руках не держал.

— Не беда, — сказали карены. — Духи не очень-то в этом разбираются, вместо барабана им можно дать старую сковородку.

Из тридцати двух духов больного карены должны были найти одного — того, который удрал. Они пошли в лес и вызвали духа, соблазнив его бутылкой плаи, и затем, заманив его в крутое яйцо, отнесли к дому Аи По. Присев на корточки, двое каренов воткнули в землю бамбуковую тростинку. Если поставленное на нее яйцо не упадет, значит в нем заточен блудный дух. Повидимому, пока дух мешкал, карены успели не раз приложиться к плаи. Их движения были неуверенными, а яйцо им удалось поставить лишь после того, как разбилась скорлупа. Затем они отнесли яйцо вместе с находившимся в нем духом к Аи По. Он его съел и, к моему удивлению, к сбору урожая выздоровел.

Сбор риса тянется всю осень, поскольку луа высевают рис неодновременно, иначе не хватит рук. Когда рис собран, луа с помощью заклинаний и жертвоприношений созывают с полей рисовых духов и вместе с урожаем запирают их в амбары. Кроме того, перед наступлением зимы устраивается дополнительная церемония созыва духов всех жителей деревни, потому что некоторые из этих духов могли остаться на полях, когда собирался урожай.

Наконец, когда все духи созваны по домам, им «раздаются» ружья, сабли и пики. Для этого крошечные деревянные ружья и другое оружие сжигают на костре. После этого жителям Па Пае до следующего года нечего бояться разбойников, голода или болезней.

После сбора урожая нам пришло время возвращаться домой. Все жители Па Пае пришли проститься с нами. Лоонг Та положил на алтарь домашних духов горстку риса, прося их, чтобы они заботились о нас в нашем долгом пути.

Перевел с английского В. ВЛАДИМИРОВ



ТЫСЯЧА ШАГОВ ПОДО ЛЬДОМ

В. САКК
Фото автора

Много преград вставало на тысячекилометровом пути строителей нефтепровода Усть-Балык — Омск: черные окна болот, буреломы, стылая тайга, быстрые холодные реки. И всегда кто-то из строителей должен был сделать первый шаг навстречу неизведанному. И делал. Чтобы сегодня по этой уже проложенной грандиозной нефтяной артерии западносибирская нефть бежала к новым промышленным комплексам Сибири.

Недалеко от Нефтеюганска путь строителям нефтепровода преградила Обь, скованная льдом. Предстояло форсировать замерзшую реку.



Снег приятно хрустел под унтами. Аркадий не торопясь шел к Оби.

Вот и берег. Небо уже потемнело, но на земле было совсем светло: снежный покров реки излучал белизну. Внизу, у самого берега, чернели огромные бухты тросов; вмерз в лед компрессор. Замер красный флажок, укрепленный на конце нефтепровода. Здесь трубопровод обрывался и зависал над высоким берегом Юганской Оби. На противоположной стороне, сливаясь с редкой тайгой, словно срубленный ствол огромного кедрача, снова тянулось тело трубопровода, прерванное рекой. Там тоже был флажок. И ему, Аркадию Скакальскому, водолазу 1-го класса, надо пройти по дну реки эти пятьсот метров, чтобы соединить два флажка...

Сзади послышались шаги. Аркадий обернулся, узнал массивную фигуру друга.

— Волнуешься? — спросил Василий Моисеев.

— Есть немного. Чепуха всякая в голову лезет.

— Подмораживает, термометр полсотни пять показывает.

— Тихо. Как бы к утру не задуло. Ну, завтра видно будет. Айда спать. Ребятам скажи, пусть майну пораньше бить начнут.

Друзья разошлись.

Река ожила: весело дымил большой костер, мотористы разогревали бульдозеры, монтажники заводили тросы, водолазы раскладывали на льду свои подводные доспехи, налаживали и проверяли помпу.

Майна стояла готовая. Время от времени большой лопатой сбивали тонкий ледок, не давая ей замерзнуть. Мороз спал, но ветер... Аркадий взглянул на конец дюкера. Флажок радостно хлопал на ветру. Он докурил. Облокотился на подножку огромного КрАЗа, оборудованного под водолазную теплушку. В скафандре по земле не очень-то удобно ходить. Друзья натянули ему тяжелые водолазные галоши со свинцовыми подошвами, надели пояс со свинцовым балластом, помогли подойти к краю майны. Василий, тяжело оторвав ото льда сверкающий на солнце медный шлем, накрыл им голову Аркадия. Затянул гайки. Сиплым от волнения голосом скомандовал: «Воздух!» — и задраил иллюминатор.

«Готов!» — крикнул он, щелкнув по шлему.

Аркадий кивнул, стал на колени, спустил сначала одну ногу, нащупав ступень железного сварного трапа, спущенного в майну, потом медленно сполз в воду, стравил воздух — вода вокруг закипела; но она уже не была для него водой, была чернотой. Привычным движением стравливая воздух, быстро опустился. Ноги ткнулись в илистое дно.

— Вася, на грунте, порядок. Видимость — ноль. Ориентируй.

— Есть! Пошел.

Сильно наклонившись вперед, стравливая воздух и подтягивая за собой резиновые шланги, он медленно продвигался вперед, прощупывая каждый метр будущей трассы. Следом за ним волочился, будоража ил, тонкий, но очень крепкий линь. (Потом линем под лед заведут тросы, тросы зацепят бульдозеры, и в бой с рекой вступит вся техника: начнут протаскивать дюкер. А пока один на один.)

Кажется, уже пройдено десять километров, а голос в телефоне: «Аркаша! Сорок, сорок метров. Глубина двенадцать метров. Как понял?»

— Понял, понял, порядок.

— Возьми два румба вправо, вправо!

— Понял, понял.

Пот ел глаза, мешал смотреть, но под водой не вытрешься. Холодно было только рукам — подтекал рукав. «Видно, отслужил свое скафандр». Пальцы уж не очень слушались. Иногда на короткое время он останавливался, не в состоянии пересилить натянутый шланг и линь, выключал фонарь. Ил, поднятый им, оседал, и тогда начинал фосфоресцировать зеленым светом ледяной купол где-то высоко над головой. Собравшись с силами, снова шел. Иногда, скрипя зубами и вспоминая «всех водяных», возвращался — расправлял заломленные шланги.

— Аркаша! Сто, сто. Глубина двадцать, двадцать. Как понял, прием.

— Понял, понял, порядок...

Наверху было тоже не сладко. Люди сильно мерзли. Ветер давал себя знать. Все чаще менялись на помпе. Не потому, что уставали, — оттирали побелевшие щеки и отогревали руки у костра.

Прошло уже три с половиной часа. А колышки, которыми отмечали по льду пройденный под водой путь, еще не дотянулись и до середины реки.

Василий сильно замерз, но телефон никому не передавал.

— Ладно, перебьюсь, — отмахивался он, перебрасывая изжеванную сигарету из одного угла рта в другой. Потом сплевывал ее, вызывал Аркадия; очередным колышком отмечали местонахождение водолаза, и Василий снова закуривал. Он знал характер друга: будет идти, пока в берег не упрется. Предлагать сменить его под водой бесполезно.

И Аркадий шел. Над головой ярче зазеленел лед, стало виднее. «Мелководье», — мелькнуло в голове. И тут, как бы в подтверждение, голос сверху:

— Шесть, шесть метров... Перекат, перекат, как понял?

— Понял, понял, порядок.

— Четыре с половиной, четыре с половиной.

— Понял, понял.

Стали попадаться белые хлопья.

«Черт, шуга пошла». Аркадий выключил фонарь. И так было видно. Белые хлопья, мягкие и нежные как вата, таили в себе страшную опасность. На перекате вода холодней, мороз прихватит, река до самого дна может промерзнуть. Аркадий знал это.

— Вася, Вася, алло! Шуга пошла...

— Понял, понял. Сделаем перекур, Аркаш. Перекур.

Молчание.

— Нет, — твердо ответил голос. — До серединки осталось чуть.

Аркадий подтянул побольше шлангов. Делал он это не торопясь, берег силы. Дышать было тяжело, постукивало в висках.

Теперь белые хлопья попадались чаще, они были впереди, сзади, слева и справа. Казалось, что сплошная белая стена преградила путь. Но он шел, медленно, с трудом преодолевая густую ледяную кашу.

Но вот кто-то потянул его назад: шланги натянулись, не пускали. Аркадий попытался подтянуть их, но бесполезно. Он снова и снова тянул шланги, но силы оставляли его. «Все. Влип», — подумал он.

— Вася... хана... шланги, — дыхание перехватило.

— Держись! Держись! — услышал он голос Василия.

Потом он всем телом ощутил холод, нестерпимый холод. Попытался двигаться, но шланги вмерзли, и их можно было повредить. Оставалось одно: ждать...

Майну били все: от начальника колонны до кока. Вскоре впереди последнего колышка образовалась большая шестиметровая прорубь. Василий передал телефон товарищам, а сам быстро облачался в скафандр. Все делал механически. Мысли его были там, внизу...

...Аркадий чувствовал, что замерзает. Тело ему уже не принадлежало, он его просто не ощущал. Перед глазами была белая ватная завеса. Не слушались ноги, руки, да он уже не шевелил ими. Зачем? Он знал, что главное для него — продержаться, не уснуть. И он держался...

...Василий шел напролом навстречу другу, широкими мощными движениями подтаскивая шланг и раздвигая перед собой густое белое месиво.

Минут через десять просигналил наверх:

— На перекате. Видимость — ноль.

Наверху майна становилась все длинней и длинней. Люди вылавливали отколотый лед и снова били. На перекате было так мелко, что воздух, стравленный Василием, сразу вырывался на поверхность, крупными пузырями и широкими кругами расходился по черной воде.

...Веки Аркадия слипались, вернее — смерзались. Напрягаясь, он вновь и вновь раскрывал их. Очнувшись, стравливал воздух, и эта даже небольшая работа отнимала у него последние силы, и он вновь погружался в забытье. Дышать становилось все трудней, видно смерзались шланги. Он хотел крикнуть: «Воздух!», но только беспомощно пошевелил губами. Да и безразлично ему вдруг все стало...

Потом — также вдруг! — стало легко-легко. Голова приятно закружилась, перед глазами поплыли оранжевые круги; но они уже не надвигались на него, не давили, а словно отплывали, отчаливали...

...Когда его подняли наверх, он был без сознания. Быстро сняли шлем и прямо здесь на льду, влили в него добрую порцию водки. Мороз сковал мокрый скафандр, а покрасневшее лицо покрылось мелкими бусинками инея. Аркадий пришел в себя, его внесли в теплушку, большого и беспомощного, в негнущемся скафандре, и привалили прямо к раскаленной печке. Скафандр запарил, и быстрые ручейки, шипя, побежали на пол...

В жарко натопленном вагончике набилось много народу. А двери поминутно распахивались, и в клубах морозного воздуха появлялся новый посетитель. Было шумно, звенели стаканы.

— Прошу тишины, — Василий встал. — Внимание, внимание! Выступает свежеразмороженный Аркаша Скакальский.

Аркадий полулежал на койке. Лицо его раскраснелось, он широко улыбался. Было хорошо на душе и спокойно. Прошедший тяжелый день ушел в прошлое, и даже не верилось, что все это было: семичасовой поединок под водой и смертельная опасность... Все это казалось далеким.

Разошлись все рано. Завтра предстоял еще один трудный день: кому-то из товарищей Аркадия надо было пройти новую тысячу шагов подо льдом, а может, и вдвое, втрое больше, чтобы соединить окончательно два флажка на берегах Оби.

Загадки проекты открытия

КОНОДОНТ ХРИСТИАНА ПАНДЕРА. Спор начался еще в 1856 году... Тогда Христиан Пандер, известный русский геолог и палеонтолог, опубликовал сообщение о сделанной им любопытнейшей палеонтологической находке — в окрестностях Петербурга ученый наткнулся на крошечные — всего в два-три миллиметра длиной — окаменевшие останки каких-то ископаемых животных. Но что это были за животные? С подобной находкой ученые никогда прежде не сталкивались.

Первое предположение было выдвинуто самим же Христианом Пандером: эти ископаемые останки — не что иное, как... зубы одного из неизвестных нам видов рыб, населявших земные моря в палеозойскую и начале мезозойской эры... И он же дал им греческое название — конодонты — «конусозубы»...

А дальше — дальше предположение русского ученого было десятки раз опровергнуто и... десятки раз его правота признавалась вновь. Зубы каких-то ископаемых рыб? Действительно, в палеозое и мезозое моря прямо-таки кишели панцирными рыбами... Но если так, почему рядом с конодонтами (их находили все больше и больше) никогда не встречались и другие рыбьи останки — кости, хрящи? Может быть, конодонты — не какие-то части скелета, а просто... целые скелеты — скелеты маленьких необычных животных, доселе тоже неизвестных палеонтологам?

И пока на протяжении десятилетий ученые вели теоретический спор, в разных концах света, в разных геологических слоях находили конодонтов и среди них разновидности «классических» — тех, что описал впервые Христиан Пандер. Была даже разработана специальная система их классификации. А загадка так и оставалась загадкой — что же такое конодонты? Не так давно американский геолог Харольд Скотт выступил с утверждением, что загадка наконец-то разгадана. В штате Иллинойс в куске асфальтовой породы он обнаружил отпечаток скелета крошечного животного. И среди четко различимых мелких хрящей и косточек можно было без особого труда увидеть... конодонт. Конодонты действительно оказались не самостоятельными ископаемыми организмами, а лишь частями скелета. Но не зубами, как предполагал Пандер, — окаменелыми частями головы... Ошибся Пандер и в другом: животное, наконец-то «открытое» Харольдом Скоттом, не рыба, а пресмыкающееся... Сейчас останки ископаемого животного, которое ученые искали больше ста лет, изучаются при помощи специальной рентгеновской аппаратуры. И возможно, в затянувшемся споре скоро будет поставлена последняя точка.

ЗАПОЛЯРНЫЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ. Археологи Коми филиала Академии наук СССР на реке Печоре, у Полярного круга, обнаружили стоянку древнего человека — неандертальца, возраст которой 60 тысяч лет. Это первое свидетельство того, что неандертальцы обитали в столь высоких широтах. Интереснейшее открытие заставляет во многом пересмотреть прежние представления о расселении древних людей на северо-востоке Европы.

НЕ КОЛУМБ, НЕ НОРВЕЖСКИЕ ВИКИНГИ, а... ирландцы были первыми из европейцев, высадившимися на Американский континент. Это утверждает известный американский географ Карл О. Сауэр в своей книге «Северные туманы», выпущенной издательством Калифорнийского университета.

Как считает американский ученый, ирландцы уже в VIII веке нашей эры заселили территорию нынешней Исландии. Но через несколько десятков лет на остров стали прибывать первые викинги, под натиском которых ирландцы стали уходить на запад, достигнув сначала Гренландии, а затем и Америки.

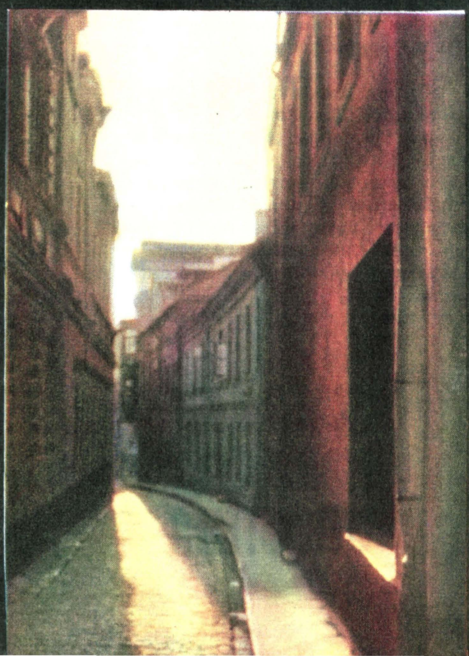
(По страницам советской и зарубежной печати)

Таллин синий и оранжевый

Л. ЧЕШКОВА, наш спец. корр.
Фото А. ГУСЕВА









Доброе утро, Старый Тоомас! Здравствуй! Tervist, Vana Toomas!

Старый Тоомас приветственно развернулся вместе со своим штандартом, словно отгоняя набежавшее облачко, и замер, неподкупный, бдительный страж города, взобравшийся на крышу ратуши.

Мне на минутку стало жаль, что Тоомас не может спуститься со своего поста и плотно позавтракать в кафе напротив ратуши — ведь ему нести дозор и день, и другой, и много лет. А потом я подумала, что жалею не его — молодцеватого, бравого, а того Тоомаса, чьи изъеденные ржавчиной доспехи и грустные дырки-глаза видела накануне в музее. Больше четырех веков простоял флюгер «Старый Тоомас», исправно указывая направление ветра и предвещая перемену погоды. И чтобы сохранить этого кованного из меди ландскнехта, великолепный образец творчества средневековых кузнецов, в 1952 году в художественном институте выковали его двойника...

Старый Тоомас дарит сегодня безветренную погоду, и я тороплюсь подняться на Вышгород, чтобы увидеть весь Таллин, не скрытый туманом, освещенный по-весеннему теплым солнцем.

...В приоткрытое окошко «жилого дома XVII века» выглянула девочка, созывая голубей. Мимо «дома коменданта XVIII века» промчалась, размахивая лыжами, гурьба мальчишек. Юноши с портфелями исчезали в парадных подъездах времен классицизма: здесь много учреждений. На улице Кохту, во дворе дома № 12, куда меня привела утоптанная в снегу тропка, я положила на древние серые камни городской стены сумку с книгами, в которых так много написано про этот город, и осталась стоять здесь надолго...

Прямо передо мной уступами спускается к булыжному ручейку улицы Пикк-Ялг городская стена. Пикк-Ялг ныряет под навратную башню — кончился ее путь по Вышгороду, и исчезает меж домов Нижнего города. Крыши, крыши, крыши — и над этой оранжево-белой рябью поднимаются массивные башни и легкие, пронзающие небо шпили. Башня Кик-ин-де-Кёк, шпиль ратуши, шпиль Святодуховской церкви... Четко, почти графично «рисуют» они силуэт города, и кажется, что перед тобой старинная гравюра, где, вытянутые в плоскости, сомкнулись в ряд грозные башни и шпили...

Но качнулся в синем небе Старый Тоомас, и, послушные его команде, встрепенулись узорчатые флюгера над крышами. Дохнуло влажным морским ветром — гравюра ожила, рамки ее раздвинулись...

За готическим шпилем церкви Олевисте кончается Нижний город, и как символ городской высоты выступает уже телевизионная вышка. Начался новый Таллин. Мне хорошо видны часть светлых кварталов, трубы заводов, каркасы строящихся предприятий, огни сварки, подъемные краны, столпившиеся у самой кромки моря. Еще белое, ледяное, с темными широкими окнами воды, оно уходит за горизонт, а Новый город устремляется и влево и вправо по берегу, и не видно конца его новым районам — Ласнамяги, Мустамяэ, Мяннику, Пельгуранда...

— Мы рассматриваем город как единый, исторически сложившийся комплекс, — вспомнились мне слова, которые я так часто слышала на улице Лай в доме 29.

В этом доме со стрельчатым каменным порталом разместилась реставрационная мастерская, а если величать ее полным титулом — Научно-реставрационная мастерская Государственного комитета Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства. На стенах просторной купеческой прихожей — портреты бывших владельцев дома: самодовольные мужчины в париках и увядшие, увешанные драгоценностями женщины. Таинственно глядят их потемневшие от времени лица на сегодняшних архитекторов, искусствоведов, инженеров...

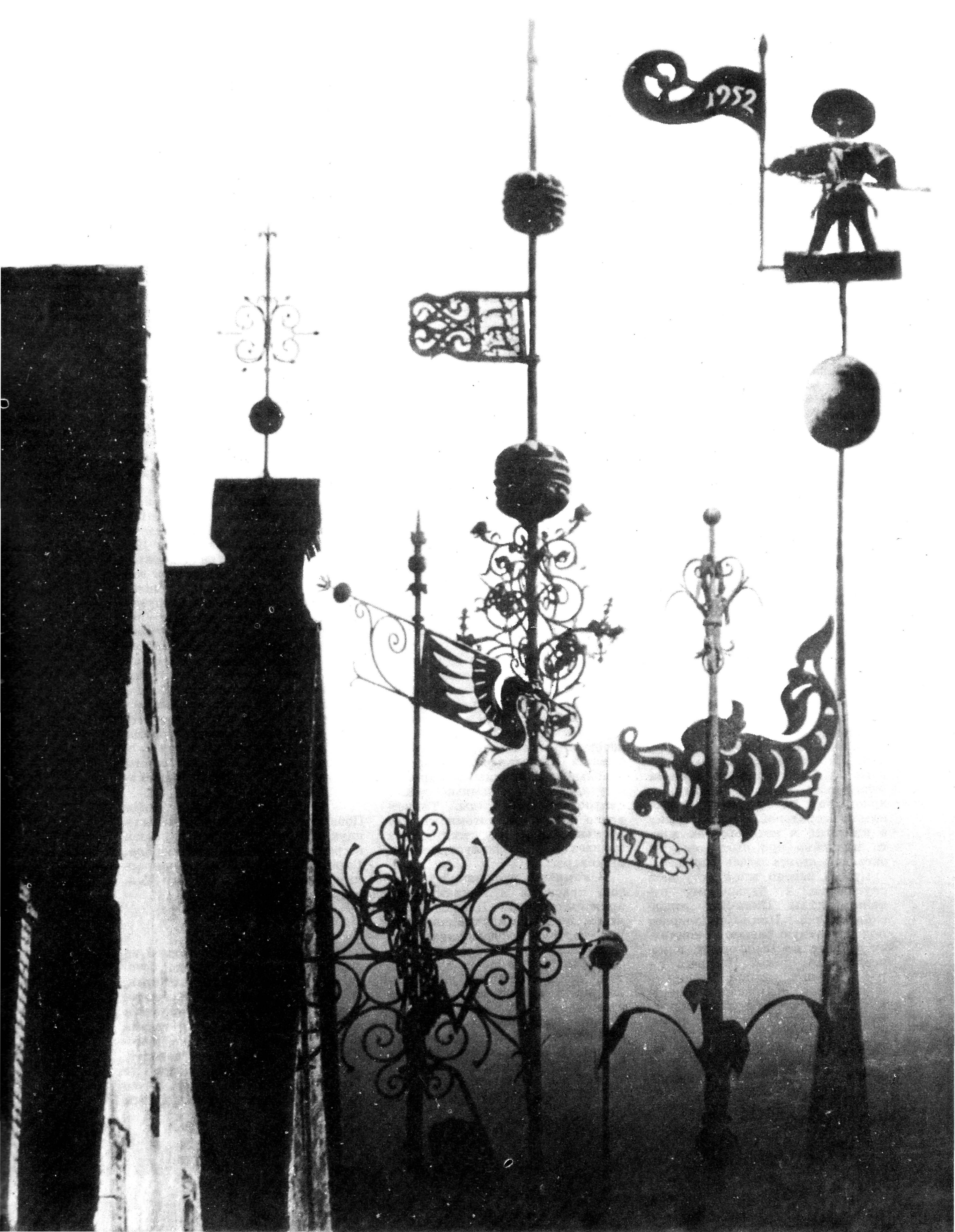
В комнате, где пахнет бумагой, красками и свежим кофе, архитектор Рейн Цобель тихо, чтобы не мешать склонившимся над чертежами девушкам, рассказывал:

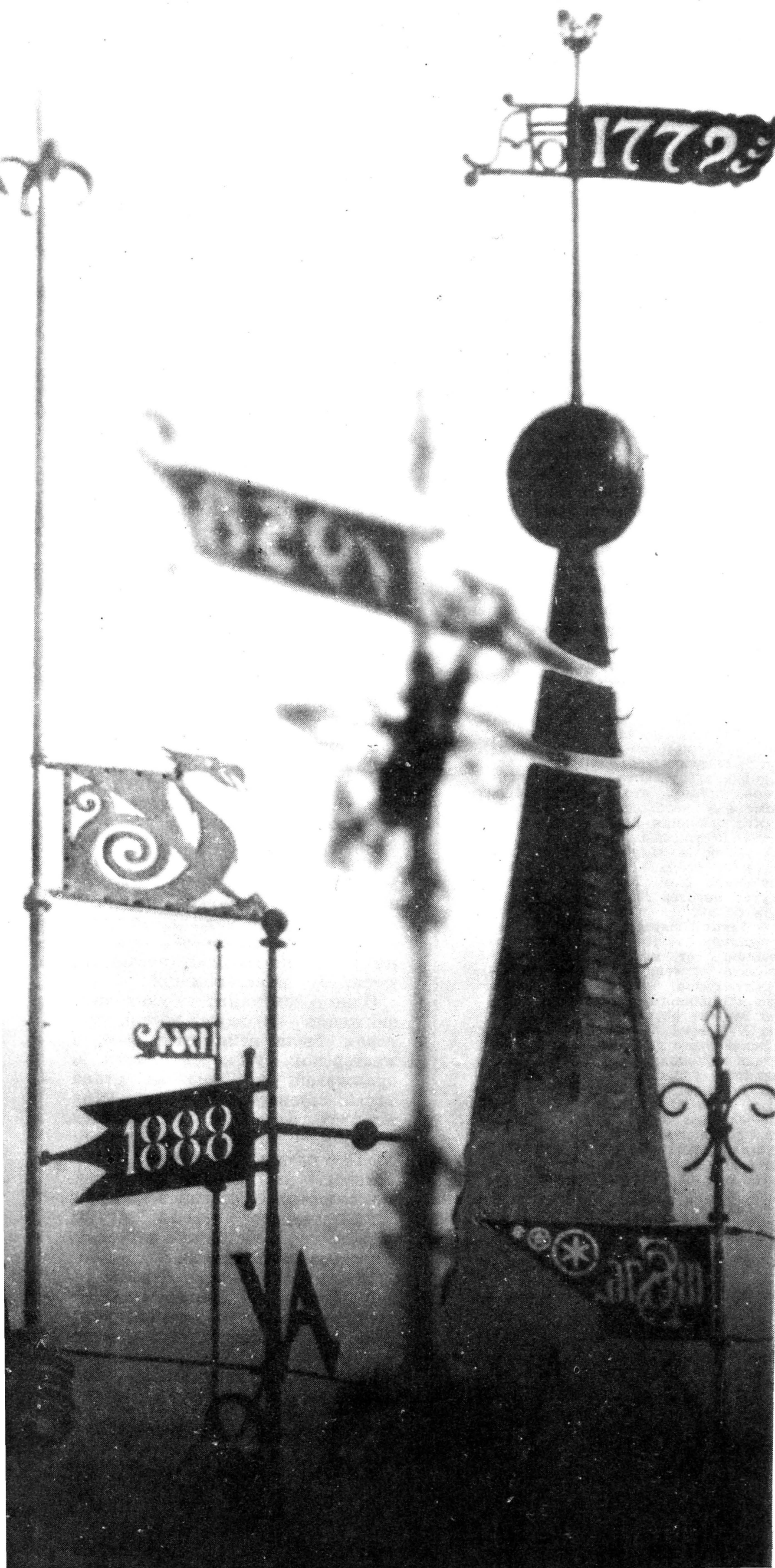
— Мы видим свою задачу в том, чтобы сохранить дошедшие до нас в архитектуре культурные слои каждой эпохи. Для Таллина это значит прежде всего: оставить в неприкосновенности древнее средневековое ядро с холмом Вышгорода — Старый город. Было решено сохранить его не как мертвый музей, не как район экспонируемых памятников, а как живую клеточку растущей с каждым днем столицы, как центр, к которому тяготеет весь молодеющий и обновляющийся городской организм. Это, на наш взгляд, интересное, но, поверьте, нелегкое решение... Взгляните, например, на эту карту... — Рейн Цобель развернул рулон и закрепил на стене карту Старого Таллина — Вышгорода и Нижнего города; карта пылала разноцветными красками, но главным были две — синяя и оранжевая.

...На улицах Старого Таллина, если внимательно приглядеться к домам, увидишь, кроме островерхой готики, простые четкие линии классицизма, массивные «сладкие» украшения псевдоренессанса, а опытный глаз архитектора заметит еще стили барокко, псевдоклассицизма... Чтобы разобраться в сложном переплетении эпох и стилей, выделить главный стиль Старого города и установить ценность отдельных зданий, искусствовед Хелми Юпрус и ее молодые помощники взялись за... инвентаризацию Старого Таллина. Документов нашлось не слишком много. Пришлось составлять анкету на каждый дом. (О, я читала такую анкету — из 73 пунктов, начиная от времени закладки дома и имени строителя и кончая описанием ниш, флюгеров и т. п. Настоящая родословная.) Более тысячи зданий были «проанализированы». И оказалось, что 115 домов — особенно ценные, 369 — просто ценные. Эти цифры намного превосходили прежние данные. Так была составлена карта, пылающая синим («особенно ценный») и оранжевым («ценный») цветами.

— Эта работа, — сказал Рейн Цобель, — помогла отыскать научный и практический ключ к реставрации Старого города. Готика, XV век — основная архитектурная ткань Старого Таллина.

По крутой Пикк-Ялг, одной из самых старых улиц города, осторожно, боясь поскользнуться, спускались прохожие. Когда-то, очень давно, только эта дорога и вела с Вышгородского холма в Нижний город и дальше, к морю. Я тоже пройду этой дорогой, через весь Старый город до Больших Морских ворот и по пути, повинуясь прихотливым


1952
1964



извивам улиц, буду много раз сворачивать и влево и вправо, потому что невозможно пройти равнодушно мимо улочек, зажатых высокой городской стеной и стеной домов, словно спаянных временем; улочек со старинными фонарями, которые раскачивает морской ветер...

В Нижнем городе Пикк-Ялг, или «Длинная нога», уже называется улицей Пикк — просто «Длинная» — и чуть-чуть расширяется, оставаясь по-прежнему столь узкой, что машины разъехаться не могут. Да и не для машин эти улицы — городской транспорт выведен за пределы центра Старого города. По этим улицам хочется идти медленно, улавливая и запоминая их средневековый рисунок. Рисунок, который бережно сохраняют архитекторы и реставраторы, — так город жил, рос...

СТЕРЕГУЩИЕ ВЕТЕР

Таллинские флюгера — это поэма. Мастер, время и ветер — ее герои. Мастер, который их создает, чтобы они были послушны ветру. Ветер, которым они дышат и который их разрушает. В союзе с ветром — время.

Они появились в городе в XV веке. Быть может, родились в подражание флюгерам, что венчали мачты судов; быть может, не случайно похожи они на пики ландскнехтов, украшенные маленькими флажками...

В старинных документах сохранились имена кузнецов и ремесленников, тех, что создавали флюгера. Мы не найдем в этих документах слов восхищения перед творчеством средневековых мастеров — эти слова произнесут лишь много столетий спустя, уже в наше время — мы найдем почти бухгалтерский отчет, подобный этому: в 1644 году мастер Иохим Гезелль израсходовал на флюгер для дома Большой гильдии 1 морской пунд 2 лейзика 10 фунтов железа.

Для искусствоведов и реставраторов такая точность изложения немаловажна — пользуясь аналогиями, можно представить себе этот флюгер, о котором сейчас уже, конечно, никто не помнит. Один морской пунд — это 160 килограммов. Значит, ушло на флюгер около 180 килограммов железа. Обычно стержень не превышает в длину трех метров. Выходит, флюгер Гезелля имел богатые кованые украшения...

Это вполне вероятно: ведь в XVI—XVII веках флюгера становятся архитектурной деталью города, и фантазия мастеров творит в полном смысле чудеса. Тонкий, как кружева, сотканный из железных спиралей орнамент в виде буквы «S», кованные из меди

„...ТО ЧУДУ ПОДОБНО..."

Из-за островерхой крыши углового дома, где-то совсем рядом, глядит на меня Старый Тоомас. Я сворачиваю с улицы Пикк, спешу к нему как к доброму знакомому — и вот я на Ратушной площади. В самом центре Старого города. Но мне хочется подойти к Тоомасу ближе, еще ближе...

...Аркада ратуши. Каменные плиты пола. Высокие арки. На стене — барельефы. Большой герб Старого Таллина и фигура богини правосудия с чашами весов и мечом. Торжественно, прохладно, гулко.

Тебе на минуту представляются зал магистрата, дубовые резные скамейки, картины и слышится глухой тяжелый голос, зачитывающий предписание, какую одежду надлежит носить женщинам Ревеля. Тебе слышится, как стонет на площади закованный, выставленный напоказ человек в лохмотьях, — ошейник, кольца для рук и ног вделаны в стену ратуши... Как гудит и смеется толпа на торжище, как галдят в Хлебном проходе торговки булками...

Пять лет восстанавливали реставраторы одну из самых монументальных в истории зодчества готических ратуш. Пять лет работы в архивах, археологических раскопок. Чтобы вся ратуша — от стройной башни, которую венчает Старый Тоомас, до металлических драконов — водосточных труб — была единой, пришедшей из веков минувших.

...Хлопают двери ратуши — там Исполком Таллинского городского Совета. Шуршат по брусчатке машины, пристраиваясь под синий кружочек с буквой «Р» — стоянка.

Обтекая островок неподвижных туристов, спешат по своим делам таллинцы. Кто-то исчезает в старом доме, за дверью мастерской, над которой висит огромный медный сапог; кто-то еще издалека высматривает знакомый медный крендель, а вот эта женщина с мальчиком, пересекая Ратушную площадь, торопится к дому, вывеска на котором изображает древние символы медицины — чашу и змею... Сейчас они откроют тяжелую дверь Ратушной аптеки, и — я знаю — мальчик прилипнет к стене, изучая герб старинной семьи Бурхардов... И еще мальчик прочтет тут же на стене, что один из Бурхардов, владельцев аптеки, был столь почтенным лекарем, что его вызывали к ложу больного Петра I.

Засветились первые окна в желтом островерхом доме с коваными узорами на стенах, с люками почти под крышей. У серой громады бывшего Пакгауза выстроилась очередь за газетами.

Я пытаюсь охватить взглядом Ратушную площадь, устья мощенных булыжником переулочков, втекающих в нее, вывески, узкие фронтоны домов и думаю о том, насколько органично этот сложный и интересный комплекс, живущий современным днем, «увязан» с характером Старого Таллина — подобно тому, как «увязаны» краски на полотне настоящего художника...

Возвращаюсь на улицу Пикк, обходя мостовой переполненные входы магазинов и магазинчиков. Самые торговые переулки Старого города. Как много цветочных витрин — из микроавтобусов «выгружают» алые цикламены и белые каллы, и вот уже женщины, улыбаясь, выходят с бумажными раструбами в руках, неся их бережно перед собой. Как приятно пахнет свежим кофе — это, верно, из булочной под старинным фонарем, напротив здания Исторического музея. Малыш привстал на цыпочки и тянет кольцо, продетое в пасть льва, — надо же попасть в музей... но тяжелые двери дома Большой гильдии не поддаются. Ну, папа, помоги!

Одно случайно увиденное движение — и вдруг мысль, которая была ясна умом там, в мастерской, у карты синей и оранжевой, но еще не стала твоей, осознается до конца... Так вот что значат слова «живая клеточка организма города»: люди с их улыбками, смехом, заботами — на улицах, в домах, по которым ходили и в которых жили те, кто строил город; музеи, кафе, магазины в стенах, которым много веков.

Да, я не видела в Старом городе почти ни одного «синего» или «оранжевого» здания, которое глядело бы на улицу мертвыми окнами-глазами. В здании Братства Черноголовых — библиотека, Дом культуры молоде-

шары украшают флюгер. Нередко стержень держит высеченный из камня лев — символ бдительности, мудрости и власти. Флажки, или, как их называли, ветреницы, или флюгарки, выковывают в форме головы мифического единорога, наделенного якобы чудодейственной силой; крылатого дракона, хранителя хозяйского добра; петуха, пение которого, по преданию, отгоняет злых духов и возвещает приход нового дня...

Это было великолепное зрелище — целая армада золоченых флюгеров над островерхими крышами, на фоне синего солнечного неба. Второй, небесный, город, который жил, дышал, радовал ясным небом или огорчал непогодой жителей земного Таллина. Но пролетели столетия — и скрипучими, пронзительными голосами заговорили флюгера: пришла старость. Снова взялись за дело кузнецы, и немало новых ветрениц завертелось над крышами. То были уже другие флюгера — с датой рождений, выбитой на флюгарке, с железными литерами, обозначавшими главные румбы «розы ветров», с указателем направления ветра... В них стало больше целесообразности, даже золотить стали лишь навершие, чтобы флюгер служил и громоотводом.

А ветер, влажный, тугой ветер не утихает... И, стремясь победить его, передает мастер свое мастерство сыну, внуку... Сегодня оно живет в тех, кто изучает сохранившиеся старинные флюгера, кто роется в письменных источниках прошлого, отыскивая записи о средневековых мастерах по металлу, кто восстанавливает умершие флюгера и создает новые.

...В комнатке Георгия Лаабо было тесно. Но человеку с широкими грубыми руками, в обсыпанном металлической стружкой переднике эта теснота казалась приятной, потому что каждая вещь была ему необходима. Гигантские тиски, паяльная лампа, молотки — почти игрушечные и словно для богатырей, в углу — книги, книги, а на столе — огромный, красной меди шар. Властно и нежно стучит молоток Лаабо по его круглым бокам.

— Такие шары делали только в старину, — говорит Лаабо, оторвавшись от молотка, чтобы поправить крученную из проволочки дужку очков. — Вот и я делаю для «старинного» флюгера. Он будет венчать реставрированную башню XVI века Кик-ин-де-Кёк.

Эскиз этого флюгера создала молодая художница Алла Бульдас. Ее флюгера украшают отдельные дома Таллина. По-старинному изящные, по-современному простые и главное — непохожие друг на друга. В рисунках ее будущих флюгеров узнается тонкий витиеватый орнамент и традиционные лев, единорог, петух. Для флюгера орудийной башни Кик-ин-де-Кёк Алла Бульдас выбрала форму алебарды.

Я видела эту сошедшую с рисунка «алебарду», уже отлитую в металле, — ее закалял в горне кузнец Лааль. Молодой и широкоплечий, он держал ее в пылающем горне, и мне подумалось, что недаром слово «sepp» — «кузнец» — стало означать в эстонском языке мастер своего дела.

Ветер и мастер продолжают свое противоборство — и живут, живут таллинские флюгера...

жи; в башне Толстая Маргарита — музей морского флота; в старейшей типографии Таллина — типография современная...

«Кто прошлого не помнит, без будущего живет». Эти слова, крупно написанные, читает всяк входящий в просторную прихожую дома 29, «бюргерского дома XV века», на улице Лай. В них смысл большой работы тех, кто думает над обликом города. С точки зрения психологической — решение сохранить Старый Таллин как живую клеточку города прекрасно «работает» на девиз реставраторов. Когда стоишь подле могучих стен башни Кик-ин-де-Кёк, стен, в которых — и сейчас видно — засели каменные ядра, и видишь, как в узкую дверь-щель втискивают телекамеру, чтобы показать таллинцам восстановленную башню — здание будущего музея, а в двух шагах от башни, мимо «дома палача», громыхая по булыжной мостовой, мчится фургон с рекламой «Книги — почтой» — право, есть о чем подумать...

Но есть еще другая сторона проблемы реставрации Старого города, сугубо реалистическая. Наши архитекторы избавлены от забот, терзающих градостроителей и реставраторов Запада. В. Осипов в книге «Британия. 60-е годы» рассказывал, что каждый дом в Англии выкрашен в свой цвет, который по душе лендлорду, независимо от того, украшает этот цвет улицу или нет. Только один городской совет Виндзора, где расположена летняя резиденция королевы, убедил горожан-домовладельцев внять мольбам архитекторов и покрасить свои дома в одной гамме... Сложно, когда дело касается цвета, но во сто крат сложнее убедить домовладельца одного, другого, третьего не перестраивать свои дома, скажем, в стиле модерн, ибо это нарушит старинный рисунок улицы, а может быть, и целого района... Да, мы избавлены от этих забот, и отсутствие их оборачивается большим благом для города, делает идею сохранения Старого Таллина реальной, осуществимой. Более того. Помогает разрешать экономическую сторону реставрации города комплексно и целесообразно. В самом деле — Старый, но живой город... Значит, возникают вопросы транспорта, сегодняшнего транспорта. Торговли — ведь в Старом Таллине уже немало кафе и магазинов, а будет гораздо больше. Жилищного строительства — как бы ни рассосалось население старых кварталов за счет новых районов, жилые дома все равно должны сохраниться в черте его. Согласитесь, свет торшера в узких окнах дома с массивной резной дверью — есть в этом живая прелесть...

Одной научно-реставрационной мастерской решить эти вопросы не под силу. Около десятка институтов заняты ими. В том числе и Институт кибернетики АН ЭССР, в котором создается модель города. По расчетам этого института работают экономисты, транспортники, градостроители. И нет сомнения, что в будущем Старый Таллин еще в большей степени, чем сегодня, будет сочетать в себе современную практическую жизнь и старинную красоту.

...Последние дома на улице Пикк. На закатном небе — черные силуэты флюгеров, тонкие, изящные, живые. Послушная ветру, выкованная в металле фантазия художника.

Я прохожу мимо круглых стен башни Толстой Маргариты, под Большими Морскими воротами. На наружной стене ворот высечен из доломита Малый Герб Таллина. Год 1529-й. Старый город кончился, кончились «синие» (помните? — «особенно ценный») и «оранжевые» («ценный») здания, башни, ворота, улицы... И словно напоминая об этих цветах, превращая их в реальность, всполыхнуло оранжевым небо и синие сумерки затопили город...

Передо мной огни широкой магистрали, вдали море зажегшихся окон, слева светится новое, из стекла и бетона, здание вокзала. Я чувствую, как это неожиданное сочетание Старого Таллина и Нового рождает какую-то невиданную еще композицию. Резкая смена впечатлений, столкновение таких непохожих, говоря языком специалистов, «архитектурных систем» будоражит, волнует — и ты с удвоенной силой осознаешь художественную прелесть и исторический смысл каждой из них. Старый город, Новый город — единый Таллин...

Старый Тоомас высоко в небе охраняет спокойствие города.

Загадки проекты открытия

ВОДА НА ЛУНЕ? В лунных недрах есть вода — к такому выводу пришли советские исследователи Г. Н. Каттерфельд и П. М. Фролов. По их предположениям, основанным на астрономических наблюдениях, в слое лунной вечной мерзлоты (глубина — 30—800 метров) вполне возможно существование льда. А под слоем вечной мерзлоты вода может существовать в парообразном и даже в жидком состоянии.

Ленинградские астрономы называют даже конкретные точки, наиболее пригодные для будущих водных скважин на Луне — например, кратеры Альфонс, Аристарх, Коперник, Кеплер...

ГРОМООТВОД «МОДЕРНИЗИРОВАН» французскими инженерами. Чтобы сделать это нехитрое устройство, изобретенное Вениамином Франклином еще в XVIII веке, более «чутким», к стали стержня было добавлено некоторое количество элемента кобальта-60. Под действием гамма-излучения кобальта вокруг громоотвода создается поле ионизированного воздуха, «притягивающего» разряды молний. Первая из экспериментальных установок «кобальтового» громоотвода «собирает» молнии в радиусе двухсот метров.

МЕЖДУ ЮПИТЕРОМ И МАРСОМ БЫЛО НЕСКОЛЬКО ПЛАНЕТ? Раньше считали, что всего одна — Фаэтон, расколовшийся в результате какой-то грандиозной катастрофы на множество мелких обломков, образовавших знаменитое кольцо астероидов. Гипотеза об одной планете опровергается новой астрономической теорией, которую выдвинул в последнее время известный азербайджанский ученый Гаджибек Султанов. По расчетам исследователя, в течение нескольких лет изучавшего орбиты всех 1726 известных сейчас астероидов, их взаимное расположение нельзя объяснить гибелью лишь одной планеты. Как предполагает ученый, планет, погибших в результате какой-то катастрофы между орбитами Марса и Юпитера, было около десяти...

(По страницам советской и зарубежной печати)



БУЛАВКИ ДЛЯ «ПАПЫ ДОКА»

Комедианты... Точнее, наверное, не скажешь о «спасителе отечества» (официальный титул) и «пожизненном президенте» Гаити Франсуа Дювалье и его присных. В каких же декорациях играют лицедеи свой жуткий фарс, растянувшийся на десятилетие?

Страна наглухо заколочена, туристы и визитеры обходят ее стороной, за журналистами охотятся сыскные агенты. Но кое-какие сведения о положении в Гаити все же прорываются сквозь рогатки. Вот они: средняя продолжительность жизни в стране — тридцать лет, детская смертность — самая высокая в мире, а доход на душу населения — самый низкий в Латинской Америке. Более половины населения — безработные. Специальная международная комиссия юристов два года назад квалифицировала правление Дювалье как «варварское».

Как и большинство латиноамериканских диктаторов, Дювалье пришел к власти при поддержке Вашингтона. Одиннадцатый год он — в буквальном смысле этого слова — заливает кровью маленькую страну, которую за время его правления окрестили «республикой ужасов». Преторианская гвардия диктатора — «тонтон-макуты» — хватает людей по малейшему подозрению. В самом президентском дворце есть камера пыток, садистски именуемая «косметическим кабинетом».

Такова страшная правда сегодняшнего Гаити.

Против этой тирании выступают патриотические силы, ставящие целью свержение диктатора и проведение демократических реформ в стране. Это прежде всего члены Партии народного единения. В глубоком подполье мужественные патриоты готовят народное контрнаступление. Уже не раз на Дювалье и его опричников наводили панику смелые вооруженные выступления гаитянских патриотов.

Даже среди прочих латиноамериканских диктаторов, отнюдь не отличающихся мягкосердечием, «папа Док», как называют этого бывшего врача, стал поистине кошмарной фигурой. Он настолько себя скомпрометировал, что официальный Вашингтон был бы не прочь заменить его на другую «сильную личность»» с менее запятнанной репутацией. В свое время такое случилось с диктатором соседней с Гаити Доминиканской Республики «генералиссимусом» Трухильо, которого попросту пристрелили.

Известно, что волны военных путчей и заговоров в латиноамериканском политическом море расходятся от киля корабля вашингтонской политики. И не случайно гаитянская оппозиция справа своей штаб-квартирой выбрала Нью-Йорк. Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов прикармливает этих «противников диктатуры», чтобы в случае необходимости попугать Дювалье, если тот станет выказывать строптивость нрава.

За последние три-четыре года эти, с позволения сказать, «революционеры» уже предпринимали девять попыток спихнуть «папу Дока». Последняя такая попытка была в мае этого года. Однако, как и все предыдущие, эта комедия закончилась провалом.

Все же «спаситель отечества», поняв, что зарвался, призвал к «развитию демократии». Этот новый фарс выразился в помиловании собственного зятя, приговоренного к смертной казни заочно, а также нескольких других старых врагов, которые вряд ли более чем на сантиметр прогрессивнее самого Дока. Видимо, подействовал «намек» Вашингтона.

ВАЛЕНТИН МАШКИН

Мы перепечатываем из американского журнала «Тру» мемуары некоего наемника, укрывшегося под псевдонимом Роберт Джонсон, который, не стесняясь, раскрывает технологию эфемерных «заговоров», чувствительных не более чем булавочные уколы для гаитянского диктатора.

руг мой, — сказал мне человек, которого я буду называть Джек Мартин. — Отправляйтесь в тюрьму.

— С какой стати? — спросил я и почувствовал, как меня прошиб пот: уж слишком серьезно и холодно смотрели на меня серые глаза Мартина.

— Рекомендую вам отправиться туда сразу, а не ждать, пока вас упекут.

— Но позвольте, я не делаю ничего незаконного, — запротестовал я. — Просто описываю вторжение в качестве корреспондента.

— Никакого вторжения не будет. Если вы сунетесь еще в один гаитянский заговор, правительство предъявит вам двадцать одно обвинение, — ответил Мартин, а уж он-то наверняка знал официальный политический курс.

На протяжении многих лет Мартин был моим ангелом-хранителем и наставником. Из своего просторного нью-йоркского кабинета в Манхэттене он осуществлял связь между службами Центрального разведывательного управления в Вашингтоне и могущественными деловыми и финансовыми кругами Америки.

— Вы занимаетесь политической жизнью Гаити вот уже десять лет и все это время служили не тем людям, — продолжал он. — Конечно, Дювалье — кровавый диктатор, психопат, но Вашингтон не хочет его падения. У нас и так достаточно забот во Вьетнаме. Нам хватает неприятностей и без Гаити.

Он был прав по всем пунктам.

Шел декабрь 1966 года. Я был связан с людьми, готовившими очередной заговор против «папы Дока». Вторжение с Майами планировалось несколько месяцев. Это был типичный «вторженческий фарс», в котором были замешаны расчетливые американцы, взбалмошные кубинские эмигранты, таинственные канадцы, розовощекие банкиры из Швеции, женоподобные священники и прыщавые юнцы из радиокорпорации «Коламбиа бродкастинг систем». Трудно представить, сколько народу — в одиночку и группами — пытались за десять лет свергнуть «папу Дока». И все эти походы заканчивались поражением и кровавой расправой.

Что влекло к Гаити всех этих людей? Какой интерес представляет для них обнищалая страна с пятимиллионным населением, возможно, единственная в мире, которая к сегодняшнему дню стала еще более нищей, чем была в 1804 году, в год получения независимости от Франции?

Главная причина — географическое положение острова Гаити. Он лежит меньше чем в пятидесяти милях от Кубы. Именно это обстоятельство и объясняет повышенный интерес к нему со стороны государственного департамента США. Именно это и помогло «папе Доку» прийти к власти.

Дювалье был посажен в президентское кресло с помощью соседа, покойного диктатора Доминиканской Республики. Для Трухильо было важно, чтобы соседняя страна управлялась более или менее стабильным и дружелюбно к нему настроенным правительством. Поэтому он с пристальным вниманием следил за событиями на Гаити.

Зимой 1956 года очередной диктатор Гаити был свергнут и на горизонте появилось множество возможных преемников. Правительства образовывались и разваливались в одну ночь. Беспорядки охватили столицу страны Порт-о-Пренс. Положение становилось серьезным.

В это время я служил у Трухильо в роли аварийного монтера. Диктатор взял меня на службу, потому что я был американцем и когда-то служил в морской пехоте. У него была страсть к морским пехотинцам, а американцам он доверял больше, чем своим соотечественникам. Кроме того, я знал Карибское море. Я участвовал в нескольких «локальных» переворотах в Центральной Америке. Я был специалистом по шпионажу, и Гаити было одной из моих специальностей. Итак, Трухильо призвал меня.

— Вы поедете в Порт-о-Пренс, — сказал он, — под ширмой журналиста. Побеседуйте с политическими лидерами, поговорите со своими людьми в американском посольстве, прощупайте политическую ситуацию. Потом возвращайтесь и представьте мне письменный отчет.

Гаити в 1957 году было интересным местом, если вас, конечно, может интересовать хаос. Я остановился в отеле «Ривьера» и немедленно связался со своим старым другом Давидом Беркабой, предприимчивым бизнесменом, нажившим состояние на строительстве отелей и обслуживании туристов. Из-за шаткости тогдашней ситуации ему грозило полное разорение.

— Гаити может спасти только один человек, — сказал он, — это Франсуа Дювалье. Я вас к нему отвезу.

Мы встретились с Дювалье в небольшом доме в центре Порт-о-Пренса и беседовали около двух часов. У меня сложилось о нем довольно благоприятное впечатление. «Папа Док» был сама умеренность и здравый смысл.

— Я считаю, что народом должен управлять сам народ и во имя народа, — сказал Дювалье в ответ на мой вопрос об основных принципах его политической философии.

Я уже много раз слышал подобные заявления. Нельзя сказать, что мы оба искренне верили в это, но важно было притворяться и при этом понимать, что скрывается под словесной требухой.

Относительно доминиканских соседей у Дювалье были тоже правильные мысли: добросердечные и корректные отношения. Я решил, что этот сельский доктор — нужный человек. Единственное, что меня беспокоило, когда я летел обратно, — это справится ли Дювалье с гаитянцами.

Дювалье начал предвыборную кампанию. Трухильо принял к сведению мой отчет и, вероятно, посовещавшись с прочими такими же, как и я, осведомителями, бросил все силы на поддержку «папы Дока».

Результат «выборов» был ясен заранее. Когда в сентябре 1957 года избирательный дым рассеялся, «папа Док» сидел в президентском дворце. Ошеломленные избиратели так и не поняли, в чем дело. Скоро Дювалье пришел к заключению, что на его благодарность притязают слишком многие. Для начала «папа Док» изба-



вился от своих самых верных помощников. Привязав им на шею по тяжелому камню, он отправил их на дно залива Гонаив. Власть в руках «папы Дока» была подобна топору сошедшего с ума мясника, бьющего без разбора по врагу и по другу.

Однако не успел Дювалье устроиться в президентском дворце, как Трухильо решил свергнуть его — мне до сих пор не ясно почему. Он связался с Антонио Кебро, начальником штаба армии Гаити, и тот чуть было не сбросил Дювалье. Но тут произошло то, что могло случиться только в Гаити.

Нужно знать Гаити, чтобы понять, насколько сильны там суеверия. Языческий культ «воду» пропитал все поры личной и общественной жизни гаитянина. Этим умело воспользовался старый «папа Док». Он начал с того, что окружил себя знахарями-хуганами, набрал тайную полицию из головорезов по прозвищу «тонтон-макуты», что по-креольски означает «оборотни». Неизменная черная тройка Дювалье, черная шляпа и очки в роговой оправе в точности повторяют облик «Барона Субботы» — гаитянского бога мертвых. По острову поползли слухи, что «папа Док» наделен властью свыше и с помощью черной магии способен уничтожить своих врагов.

Действительно, «папа Док» распустил слух о том, что он заворожил Кебро. И скоро худосочный генерал таинственным образом окочурился. Это подействовало даже на Трухильо, и он дал понять «папе Доку», что теперь не будет вмешиваться в дела Гаити.

В это же время из Майами до нас стали доходить слухи о широкой сети заговоров против Дювалье. Термин «заговор» здесь можно употребить только условно. О нем на Майами знал каждый второй и прежде всего знали департамент полиции, кабинет шерифа, преступный синдикат и, конечно, ФБР. Заговор группировался вокруг находящегося в изгнании гаитянского политического деятеля, некоего Рауля Даганэ и помощника шерифа одного из флоридских округов Артура Томаса Пейна.

Заговор был политическим предприятием. Пейну был обещан пост советника президента. Конечно, это предложение гаитянские эмигранты сопровождали определенными условиями. Пейн прежде всего должен был сколотить денежный фонд. В этом деле Пейн не знал себе равных. У него были колоссальные связи. Он продавал концессии на будущие владения в Гаити. Владельцы отелей в Майами-Бич отваливали Пейну тысячи долларов, так же как и владельцы большой строительной фирмы в Майами: в случае падения Дювалье Пейн обещал им исключительно выгодный строительный подряд.

Но казна Пейна пустела почти так же быстро, как и пополнялась. Ему все время нужно было делиться с гаитянскими лидерами, которые в изгнании пристрастились жить на широкую ногу. Некоторые из них годами существовали на средства, собранные подобным образом. Для них Артур Томас Пейн представлял постоянный талон на питание.

С первым секретным заданием Пейну повезло. Он унес ноги живым. Его тайная миссия состояла в том, чтобы, отправившись на Гаити в качестве туриста, установить связи с подпольными группами. Это он выполнил, втерся в нелегальные круги Порт-о-Пренса, но навел фараонов Дювалье на цепь подпольных ячеек. Пейна выслали. А те, с которыми он установил контакт, были перебиты один за другим.

После неудачной поездки заговорщики решили действовать более решительно. Пейну было приказано сколотить армию и вторгнуться на Гаити. Ни больше ни меньше. Пейн так и сделал. С армией из семи человек — четырех американцев и трех бывших гаитянских офицеров — Пейн вторгся в Гаити. И самое невероятное то, что Пейну чуть не удалось низложить «папу Дока».

28 июля 1958 года старая рыбачья лодка «Молли С» подошла к прибрежной деревушке Делюж, милях в пятидесяти от Порт-о-Пренса. Пейн со своими людьми высадился на берег и двинулся на столицу. По стратегическому плану они должны были захватить военные казармы, которые являются традиционным центром военной власти Гаити и расположены всего в двухстах ярдах от дворца президента. Если бы им удалось захватить эти казармы, они могли бы обстреливать дворец.

Им действительно удалось взять казармы без единого выстрела. Пейн запер гарнизон в столовой, потом один из его людей позвонил во дворец.

— Скажите Дювалье, — сказал он, — что мы удерживаем казармы и если он не сдастся до рассвета, то подвергнется нападению.

После этого звонка «папа Док» решил бежать. У ворот дворца с заведенным мотором стоял его бронированный «кадиллак». «Папа Док» собирался укрыться в колумбийском посольстве.

Но тут случилась одна из тех невероятных глупостей, которые типичны для всех попыток свергнуть его. У одного из людей Пейна кончились сигареты. Он вызвал какого-то пленного солдата и дал ему доллар.

— Пойди купи мне две пачки сигарет, — сказал он ему.

Солдат купил сигареты, но, когда возвращался обратно, передумал и пошел во дворец. «В казармах всего восемь человек», — сказал он «папе Доку».

Это вернуло Дювалье равновесие. Водрузив на голову стальную каску и перепоясавшись ремнем с кобурой, диктатор разослал по городу курьеров, чтобы собрать «тонтон-макутов». Скоро тучи полицейских окружили казарменные бараки и открыли огонь по окнам. Пейн и двое его людей пытались выбраться из ловушки, но их тут же подстрелили. Жандармы взяли казармы и одного за другим перебили остальных завоевателей. Война Пейна была окончена.

Это неудавшееся вторжение окончательно убедило двух диктаторов в необходимости сотрудничать друг с другом, и через несколько месяцев после победы над Пейном диктаторы — совладельцы острова — подписали пакт о ненападении.

В тот день маленькая пограничная деревушка блистала золотом галунов и медью касок. Все это походило скорее на встречу двух азиатских полководцев, чем на дипломатическую церемонию.

Окруженный своими слугами, Трухильо сидел в павильоне и холодно взирал на павильон Дювалье в пятидесяти ярдах по ту сторону границы. У павильона доминиканского генералиссимуса ряд за рядом стояла взмокшая от жары дворцовая охрана. По всей пограничной полосе доминиканской заставы сновали вооруженные до зубов убийцы из секретной полиции Трухильо.

Я тоже был там, выделяясь своим простым рабочим костюмом и еще тем, что я был почти без оружия — разве что на поясе болтался пистолет. Это был спектакль, который я не хотел пропустить, — сборище головорезов в золотых галунах.

По ту сторону границы застыл в своем павильоне Дювалье. На нем был его привычный черный костюм. Я с любопытством вглядывался в него. Лицо диктатора было словно черная непроницаемая маска. Я никак не мог решить, смешон он или ужасен в своем костюме «Барона Субботы».

Его свита была под стать окружению Трухильо. Крикливо разодетая президентская охрана, куча тяжело вооруженных офицеров и сотни «тонтон-макутов» в мешковатых костюмах с карманами, отвисавшими под грузом гранат.

При звуках горна Дювалье и Трухильо поднялись и встали во главе своих свит. Медленно

и настороженно обе группы двинулись навстречу друг другу. Они сошлись точно на пограничной полосе. Диктаторы быстро взглянули друг на друга и обменялись рукопожатием. Пакт о ненападении был заключен. Кто-то открыл бутылку шампанского. Оба пригубили бокалы и дали сигнал к отходу.

Вечером, по возвращении в доминиканскую столицу, у меня было такое чувство, что я, наконец, сделал что-то стоящее в этом деле. Больше года назад я указал на Дювалье как на своего парня и испытывал к нему теперь отцовские чувства.

Через полтора года Трухильо был убит, и последовала целая куча крупных и мелких переворотов. Я оказался без дела. Нужно было искать нового хозяина. Им оказался Рауль Даганэ, тот самый, с которым работали покойный Артур Пейн и его ребята. Это произошло в Монреале в 1962 году.

Я встретился с Даганэ в отеле «Маунт-Роял» и быстро вступил в его игру. Мне обещали хорошо платить. Мой шеф поначалу испытывал некоторые затруднения в определении цели своей борьбы. Однако я быстро его понял.

— Не будем стесняться, — сказал я. — Вы хотите уничтожить Дювалье и на его место посадить своего человека?

Даганэ изобразил подобие благородного негодования, но позволил мне думать, что именно это он и хотел сказать. Ему нужна была помощь в осуществлении операции, от которой он и его фракция получили бы определенную выгоду.

Даганэ был связан с одним чиновником, который работал во дворце Дювалье. Этот чиновник собирался в отпуск и имел разрешение на путешествие за границу. Он дал моему шефу знать, что имеет доступ в спальню Дювалье. Чиновник хотел подложить бомбу, которая вознесет «папу Дока» в небеса через крышу сразу же, как только тот повернет электрический выключатель.

Однако чиновник ничего не понимал в подрывном деле. Заговорщики тоже были невежественны в этом вопросе. Они спросили меня, осуществима ли такая идея, и если да, то нельзя ли устроить, чтобы этот чиновник прошел краткий курс по подрывному делу.

— У меня есть человек, который мог бы подготовить его, — сказал я им без особого энтузиазма.

Я никогда не питал симпатий к бомбам и взрывчатке. Как бы умело ими ни пользовались, они, по сути своей, ненадежны и бьют без разбора своих и чужих.

Когда чиновник поехал за границу (в какую страну — лучше не говорить), я прикомандировал к нему некоего Макса Краузе, наемника из Европы. Краузе, ветеран французского иностранного легиона, прошедший Индокитай и Алжир, был человеком такого типа, которых надо сажать в клетку с надписью: «Выпускать только в случае войны». Война — это все, что он знал и умел, а бомбы были его единственной специальностью.

Как сообщил Краузе, ученик оказался способным. Этот террорист не хотел иметь дела с доморощенными бомбами Если уж он станет взрывать «папу Дока», то сделает это при помощи самого лучшего оборудования или вовсе не будет браться за дело. Краузе спрашивал, что ему делать.

— Ничего не делай, — сказал я ему. — Все обучение и заключается в том, чтобы он смог сделать эту работу без дорогостоящего снаряжения. Он не сможет пронести его во дворец. Кроме того, оно действительно чертовски дорогое.

Положение стало критическим как раз перед тем, как чиновнику нужно было возвращаться в Порт-о-Пренс. Он объявил, что будет учиться в другом месте. Эмигранты были, по его мнению, шайкой бездельников. Он заявил, что достанет подрывное устройство сам. Однако кто-то доложил «папе Доку», что его служащий собирается стереть его с лица земли. Дювалье быстро устранил угрозу.

Следующим ходом против «папы Дока» опять планировалось вторжение. Здесь у заговорщиков были определенно самоубийственные или просто убийственные тенденции. Мои шефы сказали, что я должен руководить десантом с моря на Порт-о-Пренс — город, кишащий войсками и «тонтон-макутами». Как в старом фильме с участием Эррола Флина, мы должны были высадиться на берег, размахивая ружьями. Я сказал им, что я не Эррол Флин. Я также не хотел быть и Артуром Томасом Пейном.

После долгих дебатов был выработан следующий план. Вторжение на суше будет поддерживаться ударом с воздуха на дворец Дювалье. Мой младший брат Билл нанял «воздушные силы», состоящие из Алекса Рорке из Нью-Йорка, владевшего бомбардировщиком Б-25, и пилота Алекса Джефри Салливана из Уотербери, штат Коннектикут. Рорке привел в готовность свой бомбардировщик в июле 1963 года и ждал, когда ему доставят бомбы.

Тем временем к заговору присоединился наемник-француз Андре Ривьер. Он был моим давнишним приятелем еще по совместной работе у Трухильо. Мне всегда было с ним не по себе. Он постоянно говорил о таких вещах, как смерть, рок и т. д. Но что хуже всего, он никогда не говорил о деньгах, хотя они всегда на языке у любого нормального наемника. Его ролью в заговоре было обучение маленькой армии гаитянских эмигрантов в лагере у доминиканской границы. Именуя себя Революционными вооруженными силами Гаити, они едва насчитывали 250 человек. А по ту сторону границы было от 15 до 18 тысяч солдат «папы Дока».

«Партизаны» Ривьера в августе 1963 года перешли границу. Им предстояло взять с боем не какой-нибудь маленький пункт, а самую сильную крепость в районе границы. Их колонна попала в засаду и была разгромлена, даже не дойдя до цели.

Что касается ВВС, то они остались на земле, Рорке так и не получил обещанных заговорщиками боеприпасов.

Спустя некоторое время они с Салливаном поднялись в воздух и направились куда-то в Центральную Америку. Это был их последний полет. Больше их не видели.

Так закончилась эта кампания.

Однако весной и летом 1964 года таинственные американцы опять обучали, вооружали, финансировали и транспортировали две группы гаитянских эмигрантов.

Оружие, предназначавшееся для третьего вторжения, было неожиданно захвачено полицией Майами. Власти не делали секрета из того, что об оружии им сообщили федеральные агенты. Самое интересное заключалось в том, что именно федеральные агенты и поставили нам раньше это оружие. Это выяснилось в ходе официального расследования, и ЦРУ попросило закрыть дело «по соображениям национальных интересов». Политика Вашингтона неожиданно изменилась: было решено, что Соединенные Штаты могут сосуществовать с Дювалье.

Перевела с английского А. РЕЗНИКОВА





ЗАБЫВШИЕ НАЧАЛО ПУТИ

В третьем номере нашего журнала за этот год было опубликовано сообщение о сенсационной археологической находке: на Дунае, вблизи местечка Тэртэрия, во время раскопок были найдены глиняные таблички, испещренные таинственными знаками... И оказалось, что отдельные знаки на этих табличках чрезвычайно напоминают те, которыми в III тысячелетии до нашей эры шумерские писцы, жившие за тысячи километров от Дуная, в городах по берегам Тигра и Евфрата, обозначали цифры и имена богов!

...И самое поразительное: как показал радиоуглеродный анализ, тэртэрийские таблички были изготовлены по крайней мере за тысячелетие до того, как подобные знаки появились в Шумере, считающейся древнейшей цивилизацией Евразии



«Что могло лучше олицетворять ум и знания, чем голова человека, силу — чем туловище льва, вездесущность — чем крылья птицы!» — писал английский археолог Лэйярд, когда открыл в прошлом веке исполинскую статую крылатого человекольва, изваянную ассирийским скульптором около трех тысяч лет назад... Сейчас науке известны сотни подобных изображений, найденных по всей Малой Азии, в курганах и поселениях разных культур и народов... А начиналось это искусство в то время, когда росли стены первых шумерских городов в излучинах Тигра и Евфрата, когда вырубал из черного диорита безвестный шумерский ваятель статую царя «Гудеа-строителя».

Как угадывались за горизонтом никому не ведомые земли приметами, известными одним лишь мореплавателям, — то птицами, садящимися на вершины мачт, то плывущими навстречу береговыми водорослями, — так и эту цивилизацию увидели, когда она еще была скрыта за видимым горизонтом истории...

«Это выглядит так, будто по мокрому песку проскакали воробьи», — недоуменно пожимали плечами ученые мужи в Европе, когда в 1780 году датский путешественник Карстен Нибур показал им копии странных клинописных знаков, которыми были испещрены обломки стен Персеполя, древней столицы персидского царя Дария III.

Но слишком четко и точно, с какой-то завораживающей целесообразностью были отпечатаны эти «птичьи следы», чтобы одной красивой фразой можно было зачеркнуть сообщение Нибура. Некоторые ученые — в первую очередь и сам Нибур — решили все же проникнуть в тайну «воробьиных следов». Но прошло более двадцати лет, а персепольские знаки так и не были расшифрованы, хотя уже многие ученые пытались сделать это. Клинопись оставалась загадочным шифром древних до тех пор, пока в 1802 году скромный учитель немецкой философии из Геттингена Георг Фридрих Гротефенд, никогда не занимавшийся историей Персии, не побился об заклад со своим другом, что прочтет персепольскую надпись.

И он действительно прочел ее. Прочел, не зная ни одного восточного языка, абсолютно не представляя, по каким лингвистическим законам выстроены эти «воробьиные следы». Он прочел 12 знаков персепольской надписи, обозначавших имена и титулы персидского царя Ксеркса и его отца Дария. Гротефенд дал науке ключ к расшифровке всей клинописи! Ключ к познанию тайн истории всей Малой Азии (как выяснится потом, клинопись там была распространена повсеместно).

Но... Геттингенские мужи науки, позевывая, выслушали сообщение профессора Тихсена, ознакомившегося с результатами работ Гротефенда (не могло же, в самом деле, всемирно известное научное общество выслушивать сына сапожника), были изданы краткие тезисы этого сообщения... И все.

Прошло свыше тридцати лет. В 1837 году во время одной из служебных командировок английский дипломат и лингвист Роулинсон увидел на отвесной скале Бехистун, что высится у древней дороги на Вавилон, какой-то странный рельеф, окруженный клинописными знаками. Роулинсон срисовал и рельефы и надписи.

В 1845 году Роулинсон издал книгу «Персидские клинописные знаки в Бехистуне», где на всеобщий суд и обозрение представил копии Бехистунской надписи и свой перевод их.

В отличие от доклада Тихсена это сообщение произвело сенсацию. За три года до этого французский исследователь Ботта открыл близ Хорсабада первый ассирийский дворец. Эта находка буквально ошеломила научный мир. Толпы людей как на чудо смотрели на памятники удивительного искусства, найденные в безжизненных песках, — изображения царей и воинов, богов и рабов, несущихся во весь опор бородатых лучников и копьеносцев, на гигантские изваяния странных чудовищ с туловищем быка, орлиными крыльями и человеческими головами... И везде — на барельефах и статуях, на стенах древних дворцов — везде исследователи видели «воробьиные следы» клинописи... Из тысячелетнего забвения вставала загадочная и великая цивилизация. Цивилизация столь древняя, что даже Геродоту о ней, по сути дела, уже ничего не было известно. Бук-

вально за несколько лет история человечества повзрослела на тысячелетия.

И эти тысячелетия заговорили...

«Ты, который в грядущие дни увидишь эту надпись, что повелел я выбить в скале, и эти изображения людей, ничего не разрушай и не трогай...» Это были первые слова, прочитанные Роулинсоном. Несколько лет спустя клинопись мог читать любой востоковед.

И тут снова началось невероятное.

Как вскоре выяснилось, клинопись была распространена по всей Передней Азии. И все системы клинописи, системы, созданные разными народами и культурами, имели одну и ту же основу. Значит? Значит, персы, а до них ассирийцы заимствовали свою клинопись у какого-то более древнего народа. Значит, только что открытая цивилизация сама выросла из какой-то более древней, но, возможно, не менее великой цивилизации, ибо она уже имела развитую письменность... Создателей этой неведомой еще цивилизации исследователи назвали шумерами, так как древнейшие правители Двуречья, известные в это время, называли себя царями Шумера и Аккада.

Прошло всего лишь несколько лет, и археологи увидели первых шумеров. В 1877 году французский вице-консул в Басре Эрнест де Сарзэк, увлекшийся историей Востока, заложил несколько разведочных шурфов в холмах Телло, что невысокой грядой уходили к северу от Басры. И в песчаном теле одного из холмов де Сарзэк увидел вырубленные из черного диорита фигуры людей. Они были спокойны и величавы. У них не было копий и мечей, их одежды не развевались победным ветром, их ноги не попирали трупы поверженных врагов, а их безоружные руки были спокойно сложены на груди, как руки человека, отдыхающего от тяжелого земного труда. Это могли быть руки строителей, писцов, землепашцев, руки людей, построивших первый дом, написавших первую книгу, проложивших первую борозду.

Потом будут найдены и сцены жестоких битв, и изображения опьяненных кровью воинов — все, что положено для памятников искусства древней цивилизации. Но эти скульптуры, найденные в холме Телло, дышали каким-то удивительным спокойствием. Не было никакого сомнения: найдены первые памятники культуры, предшествовавшей ассирийской. А клинописные строки, покрывающие постаменты фигур, оказались следами той праписьменности, существование которой было предсказано.

...Шумеры были найдены. «Народ, который начал историю», как иногда называют теперь шумеров, начал рассказывать о себе.

Шумеры создали сеть первых в мире оросительных каналов, которые пережили своих создателей на долгие тысячелетия. Они возвели города, древнейшие в мире, и архитектурные и строительные приемы, разработанные шумерскими зодчими, войдут в практику народов, которые уже и не будут подозревать о существовании своих учителей.

Даже знаменитый кодекс Хаммураппи, оказавший влияние на римский кодекс Юстиниана, что лег в основу классической юриспруденции современности, оказалось, начинался в Шумере (приговор шумерского суда по запутанному делу об убийстве, совершенном в 1850 году до нашей эры, не смог «обжаловать» в 50-х годах XX века нашей эры декан факультета права Пенсильванского университета).

Шумеры создали первые в письменной истории мифы, которые в аллегорической форме повествовали о действительных событиях, и эти мифы неведомо и таинственно оживут потом в древней Греции, заговорят как «божественные» откровения в «священной» библии.

...Люди всегда пели и поют славу своей земле, своим полям. И первая такая песнь известна нам по клинописным шумерским табличкам. «О Шумер, великая земля среди всех земель вселенной, залитая немеркнущим светом... Твое сердце глубоко и неведомо... Да будут хлевы твои многочисленны, да приумножатся твои коровы, да будут овчарни твои многочисленны, да будут овцы твои бесчисленны».

...Люди всегда благословляли свой труд и гордились им. И первый гимн труду дошел до нас в клинописных табличках шумеров: «Я Плуг, сделанный могучей рукой, собранный могучей рукой... Я верный землепашец человечества... Все страны обожают меня. Все люди с радостью взирают на меня».

Шумеры сложили первую в истории человечества любовную элегию («Супруг, дорогой моему сердцу, велика твоя красота, сладостная, точно мед. Лев, дорогой моему сердцу, велика твоя красота, сладостная, точно мед... Твою душу — я знаю, как обрадовать твою душу, Супруг, спи в нашем доме до зари...») и пропели древнейшую погребальную песнь («Пусть твой жизненный путь не исчезнет из памяти, пусть имя твое называют в грядущие дни...»).

Но, может быть, самое великое, что создала шумерская культура, — это образ Человека, ставшего с богами как равный с равными, первую в мире поэму, пропевшую славу Человеку, свершающему великие, доступные лишь богам дела, но доблестного земными доблестями и страдающего земными страданиями, поэму о Гильгамеше.

Богиня любви и сладострастия, отвергнутая легендарным царем Шумера Гильгамешем за коварство и бесчеловечность, желая отомстить герою, умертвила его единственного и горячо любимого друга, а на самого Гильгамеша наслала коварную болезнь. Мучаясь от невыносимой боли, покрытый язвами и струпьями, терзаемый страхом смерти, унесшей его друга и угрожающей ему самому, Гильгамеш решил отправиться к единственному из людей, кого боги наградили бессмертием. Он надеется, что ему удастся узнать тайны вечной жизни. Бессмертный живет по ту сторону океана — «вод смерти», которые не удавалось переплыть еще никому, да и путь до этого океана тяжелый и «полный всяких страстей». Почти обессиленный болезнью, Гильгамеш все же проходит этот путь и переплывает «воды смерти». Мудрец вылечивает



Гильгамеша от болезни и говорит, что бессмертие ему даровали за то, что спас он во время великого потопа, насланного злым богом, «семя жизни всякого рода». Затем он рассказывает Гильгамешу, где найти волшебную траву, дарующую телесное бессмертие. И когда с великими трудами Гильгамеш достает эту траву — ее похищает злой дух в образе змеи...

Трагично кончается это сказание — утверждением неизбежности смерти даже такого героя, как Гильгамеш.

Но Гильгамеш стал первым, кто понял, что только дела человека бессмертны, если они достойны бессмертия, что «самый высокий человек не может коснуться небес», но надо делать все, чтобы «узнать тайны Неба и Земли», и если на этом пути «страх подступит к тебе, страх подступит к тебе, — прогони его вспять».

...Сквозь тернии к звездам — тысячелетия спустя сформулируют на языке Горация мысль, выраженную в сказании о Гильгамеше...

Так кто же такие шумеры, народ, «который начал историю»? Какие истоки питали его великую культуру?

...Мы знаем, что первые шумерские города возникли в конце IV — начале III тысячелетия до нашей эры. И можем назвать главнейшие из них — Ниппур, Ур, Урук (Гильгамеш был легендарным правителем этого города), Ларса, Лагаш. Выяснено, что каждый из городов был самостоятельным рабовладельческим государством, управлявшимся патеси, как называли своих царей шумерские писцы. Таблички также рассказали о войнах, которые вели между собой патеси разных городов — из-за земель, воды, рабов.

Известно нам, что около 2370 года до нашей эры в Шумер вторгаются выходцы из Верхней Сирии и на 200 лет покоряют шумерские города. В это время столицей Южной Месопотамии становится город Аккад. После этого происходит новый расцвет шумерских городов. Археологи нашли несколько статуй патеси Лагаша — Гудеа, которого шумерские летописцы называют великим строителем.

Мы можем проследить, как центр шумерской культуры во II тысячелетии до нашей эры перекочует в небольшой городок Вавилон, который станет одним из блестящих городов древнего мира; как спустя тысячелетие Вавилон войдет в состав Ассирийского царства, владычество которого будет простираться на всю Западную Азию — от Ирана до Средиземного моря. И как после падения Ассирийской империи Вавилон вновь станет самым крупным и богатым городом своего времени. И как в 538 году до нашей эры персидский царь Кир захватит Вавилон и присоединит его к своему царству... И многое из этого нам поведали глиняные таблички шумерских, аккадских, вавилонских, ассирийских писцов, чуть ли не с протокольной точностью описывающих исторические факты. (Даже некоторые позднейшие списки эпоса о Гильгамеше кончаются словами: «Согласно древнему подлиннику списано и сверено».)

...Но когда в этих табличках начинается разговор о том, «откуда есть пошла» земля шумерская, — бесстрастная точность летописца взрывается какой-то безудержной фантазией. Согласно одной такой хронологии первый десяток шумерских правителей царствовал ...241 200 лет, согласно другой — точно 456 000 лет!

Истоки шумерской культуры не связаны с культурой древнейших кочевых племен Двуречья. Стремящаяся ввысь архитектура священных башен-зиккурат древнейших городов шумеров не могла возникнуть в низинных просторах болотистых равнин Двуречья. Древнейшие следы шумерской письменности, известные науке, позволили некоторым исследователям предположить, что у шумеров существовала еще более древняя система письма, которая еще не открыта.

Бесспорно, что шумеры не коренные жители Двуречья, а шумерская цивилизация, во всяком случае тот отрезок ее истории, что известен сегодняшней науке, — это еще не «начало начал».

Так где же это «начало начал»? Долгое время считалось, что шумерский язык напоминает индоевропейский. И было выдвинуто предположение, что шумеры — выходцы из гористых районов Азии. Указывалось даже точно: прародина шумеров — сибирская цепь Алтая.

«История начинается в Шумере», — образно сказал один из крупнейших шумерологов, С. Крамер... Но вот перед нами три глиняные таблички, найденные на Дунае, на которых изображены знаки, напоминающие шумерские (фото вверху), — и изображены за тысячелетие до того, как они появились в Шумере...



БИТВА НА ФАЗЕНДЕ ДА-ЛЕЙНИНГЕН

КАРЛ СТЕФЕНСОН

Муравьи[1] появились утром. Они двигались в направлении плантации зловещим прямоугольником, одна сторона которого составляла три, а другая пятнадцать километров. В панике бежали, спасаясь от смерти, ягуары и пумы, олени и тапиры. Беспорядочно метались и дико кричали обезумевшие от ужаса обезьяны.

Владелец плантации — фазендейро сеньор Лейнинген не был новичком и знал, что в этом уголке Бразилии такого нашествия можно было ждать каждый день. Плантация была окружена подковообразным рвом шириной в четыре метра, концы которого упирались в реку. На реке была сооружена плотина. В случае опасности фазендейро мог открыть ее затворы и окружить свои владения сплошным поясом воды. С одной стороны к подкове подходил тамариндовый лес, и ветви высоких деревьев далеко простирались надо рвом. Лейнинген приказал обрубить ветви, чтобы муравьи с них не смогли попасть на плантацию. Кроме внешнего рва, имелся еще и внутренний пояс укреплений: ров меньшей величины, окружавший холм, на котором расположились хозяйственные и жилые постройки. Во рву был сделан специальный желоб, идущий от цистерны с нефтью. Так что, если бы муравьи, преодолев первый ров, достигли плантации, нефть стала бы надежной защитой для осажденных.

Как только стало известно о приближении муравьев, женщин и детей срочно переправили на другой берег реки в безопасное место, а в ров напустили воды. Все мужское население плантации, четыреста работников-индейцев, столпилось на южном конце подковы.

До самого горизонта, насколько мог видеть глаз, все было покрыто черным, металлически поблескивающим движущимся ковром. Вся растительность на его пути исчезала, словно сбитая. Индейцы неистово кричали, размахивали руками, посылали проклятия надвигающейся опасности. Но расстояние между рвом и муравьями сокращалось, шум постепенно затихал, и, наконец, воцарилась гробовая тишина. На эту тишину наплывала все пожирающая на своем пути лавина из сотен миллионов насекомых.

Вражеская армия приближалась в строгом боевом порядке. Увидев препятствие, из центра выделились две колонны и пустились в обход с флангов, желая найти место для переправы. Это заняло немногим более часа. Осажденные за это время успели получше рассмотреть своих противников. Они были красно-черного цвета, величиной с палец. Некоторым индейцам даже показалось, что муравьи гипнотизирующе сверлят их холодными сверкающими глазами.

Наконец оба фланга, обойдя ров, достигли реки. По какому-то таинственному телеграфу весть об этом молниеносно разнеслась по всему вражескому лагерю, и гигантский — шириной в сто метров — поток блестящих насекомых захлестнул ров. Вода стала черной. Муравьи тонули тысячами, но им на смену устремлялись новые десятки тысяч. Лейнинген распорядился раздать людям лопаты и нефтяные форсунки. В муравьев полетели комья земли, их поливали нефтью. Но насекомые ответили на это еще более яростной атакой. А в довершение этого течение часто возвращало комья земли обратно ко внутренней стороне рва, и тогда от них тотчас же отделялась зловещая черная лента и ползла наверх. Один из индейцев ударил по такому комку лопатой, и в мгновение ока рукоятка была сплошь покрыта насекомыми. Пеон с проклятиями кинул лопату в ров, но было уже поздно: муравьи покрыли его с головы до ног и впились в тело. Некоторые, покрупнее других, имели особое жало, через которое выпускали в тело своей жертвы парализующий яд. Обезумев от боли и ужаса, человек прыгал и бесновался, как дервиш. «Руки в нефть! Скорее!» — крикнул Лейнинген. Несчастный сорвал с себя рубаху и погрузил руки, покрытые муравьями до самых плеч, в большой чан с нефтью. Но даже после этого насекомые не разжали своих челюстей, и другому работнику пришлось давить и отцеплять каждого муравья в отдельности.

По приказу Лейнингена был поднят уровень воды во рву. Люди с облегчением наблюдали, как бурный поток уносил мириады насекомых. Атака была отбита, но муравьи и не думали снимать

[1] Речь идет о так называемых муравьях-«легионерах» (Eniktus), подлинном биче внутренних районов Бразилии. — *Прим. ред.*

Но в последнее время установлено, что язык шумеров не похож ни на один язык мира.

Известный английский ассиролог Артур Кейт предположил, основываясь на замеченном им сходстве отдельных элементов культуры, что прародина шумеров — районы Афганистана, Белуджистана и долина Инда. И действительно, при раскопках в долине Инда были обнаружены прямоугольные печати, чрезвычайно сходные и формой и надписями с древнешумерскими печатями.

Но дальнейшего подтверждения эта гипотеза еще не получила: согласно последним исследованиям именно шумеры оказывали влияние на культуру Инда...

И вот в этом году во многих научных журналах появилось сенсационное сообщение: на Дунае, близ местечка Тэртэрия, во время раскопок найдены глиняные таблички, покрытые знаками, напоминающими образцы шумерской письменности.

Ученые пока не могут объяснить этот феномен. Неолитическая культура, в одном из поселений которой были найдены эти таблички, достаточно хорошо изучена, чтобы утверждать: в то время, когда они были созданы, жители Дуная просто не могли еще иметь своей письменности. Некоторые исследователи высказали предположение, что какими-то неведомыми тысячелетней давности торговыми путями таблички с шумерскими письменами попали на Дунай, где местные жители видели в них какие-то

осаду. Они лишь изменили тактику. Полчища насекомых буквально заполнили тамариндовый лес на берегу рва. Можно было подумать, что они решили заготовить для себя провиант. Но дело обстояло иначе. Муравьи перегрызали стебли листьев, которые дождем сыпались на землю, быстро перетаскивали их ко рву и опускали на воду. На этих своеобразных плотах насекомые устремлялись к противоположному берегу.

Внезапно Лейнинген заметил на другом берегу какое-то странное черное существо с бесформенной головой и трясущимися ногами. Существо пыталось прорваться ко рву, но свалилось на берегу и забилось в судорогах. Это был пампасный олень, случайно забредший в стан муравьев. Они покрывали его сплошной черной пеленой. Сначала муравьи лишили его глаз, а потом стали поедать слепое и обессилевшее от боли животное. Лейнинген поднял ружье и выстрелил, чтобы освободить оленя от бессмысленных мучений. Олень вздрогнул в последний раз и затих. Через шесть минут от него остались лишь гладко отполированные кости.

Листья уже наполнили ров. Миллионы муравьев плыли на них к плантации. Лейнинген приказал резко понизить уровень воды во рву, а затем также резко поднять его, и так несколько раз. Муравьи, внезапно очутившись на дне, сразу же ринулись на штурм, но тут на них обрушился бурный поток. Однако кое-кому из них удалось выбраться на внутренний берег. Послышались душераздирающие крики индейцев: что-то испортилось в пусковом механизме на плотине, и ров оказался пустым. Гигантский черный ковер выполз на внутренний берег. Лейнинген понял, что плантация обречена. Он поднял ружье и трижды выстрелил в воздух. Это был условный сигнал: перебираться во внутренний пояс укреплений. Во второй канал он приказал пустить нефть.

Плантация — результат неустанного многолетнего труда — была уничтожена в мгновение ока. Но сразу кинуться в нефть насекомые все же не решались. Так как вся живая зелень была уже съедена, они стали собирать и бросать в ров куски коры, сучья, ветки и сухие листья. Вскоре во рву уже не было видно нефти. Все было покрыто кишащей массой насекомых. Положение было отчаянное. Лейнинген схватил камень и бросил в канал. На мгновение обнажился кружок чистой нефти, и туда полетела горящая спичка. Нефть вспыхнула. Гарнизон оказался окруженным стеной огня. Миллионы муравьев погибли. Так повторялось несколько раз, но муравьи упорно продолжали наступать. Они снова и снова строили мосты. Теперь делать это было легче, так как нефть была покрыта слоем золы. Оставалось только одно: затопить водой всю плантацию. Но как добраться до плотины? Два индейца попытались было достигнуть реки, но это стоило им жизни.

Тогда Лейнинген сам обмотался тряпками, пропитанными нефтью, поверх натянул намоченную в нефти одежду. Противомоскитными очками плотно закрыл глаза, а уши и ноздри заткнул ватой. Старый индейский лекарь дал ему мазь, приготовленную из майских жуков. По его словам, муравьи не выносят запаха майских жуков. Лейнинген обмазал мазью лицо и одежду и выпил лекарство от муравьиного яда.

Через секунду Лейнинген, махнув индейцам на прощание рукой, кинулся в гущу муравьев. Он бежал что было силы, стараясь делать длинные прыжки. Но, не пробежав и половины пути, весь он был облеплен насекомыми. Невзирая на жуткую, невыносимую боль, он продолжал бежать. До плотины еще метров триста... Вот уже двести... сто... И вот он, наконец, достиг цели. Едва Лейнинген схватился за колесо, как целый рой неистовых насекомых с бешенством впился в его лицо и тело. Лейнинген извивался как безумный, плотно сжав губы. Открыть рот — значит в ту же минуту погибнуть. Наконец затворы плотины открылись, и наводнение началось.

Лейнинген едва держался на ногах. Собрав последние силы, он кинулся бежать обратно, сознавая, что стоит ему оступиться и упасть — это будет концом. Сердце бешено колотилось, из ушей текла кровь. С каждым шагом его оставляли силы. На его пути лежал большой камень. Не в силах его обогнуть, Лейнинген в изнеможении опустился на землю. Муравьи кинулись на свою жертву. В голове его пронеслась сцена гибели оленя. Чудовищным усилием воли он заставил себя подняться и побежал дальше.

Прорвавшись сквозь полыхающую стену огня во внутреннем рву, он без сознания упал на землю. Подбежавшие индейцы сорвали с него одежду, очистили тело от муравьев и отнесли в дом. Вода бурлящим потоком залила всю плантацию. Муравьи тонули миллионами, остальных уносило течением. То там, то здесь насекомые еще пытались выбраться на сушу, но индейцы нефтью из форсунок загоняли их обратно в воду.

Сражение было выиграно.

Перевел со шведского О. ЧИСТОВСКИЙ

священные знаки (эти таблички действительно были найдены в золе жертвенного костра), и местные жрецы просто копировали их, не понимая смысла. Но радиоуглеродный анализ показал, что тэртэрийские таблички изготовлены почти на полторы тысячи лет раньше, чем аналогичные шумерские, найденные в Двуречье! Так, может быть, эти таблички попали на Дунай именно из той области, которую уже не одно десятилетие ищут шумерологи, — области, где началась шумерская культура? Но слишком совершенны знаки на одной из тэртэрийских табличек, чтобы утверждать это, — тэртэрийские знаки напоминают уже развитую шумерскую письменность, а не ее древнейшие образцы. Тэртэрийский феномен слишком одинок, чтобы заставить по-новому взглянуть на историю шумеров. Но в то же время он слишком интересен, чтобы наука прошла мимо и не попыталась разобраться в нем. Исследование этой удивительной находки, по сути дела, только началось. И укажет ли она путь к истокам шумерской культуры, культуры, забывшей начало своего пути, — неизвестно.

И как не ведали первые из вступавших на вновь открытую землю, где обрывается она, так и мы еще не знаем, до каких пределов во времени и пространстве простирается шумерская цивилизация.

...Но идущие тропами неведомой земли всегда жили уверенностью, что когда-нибудь ее очертания лягут на карты мира...

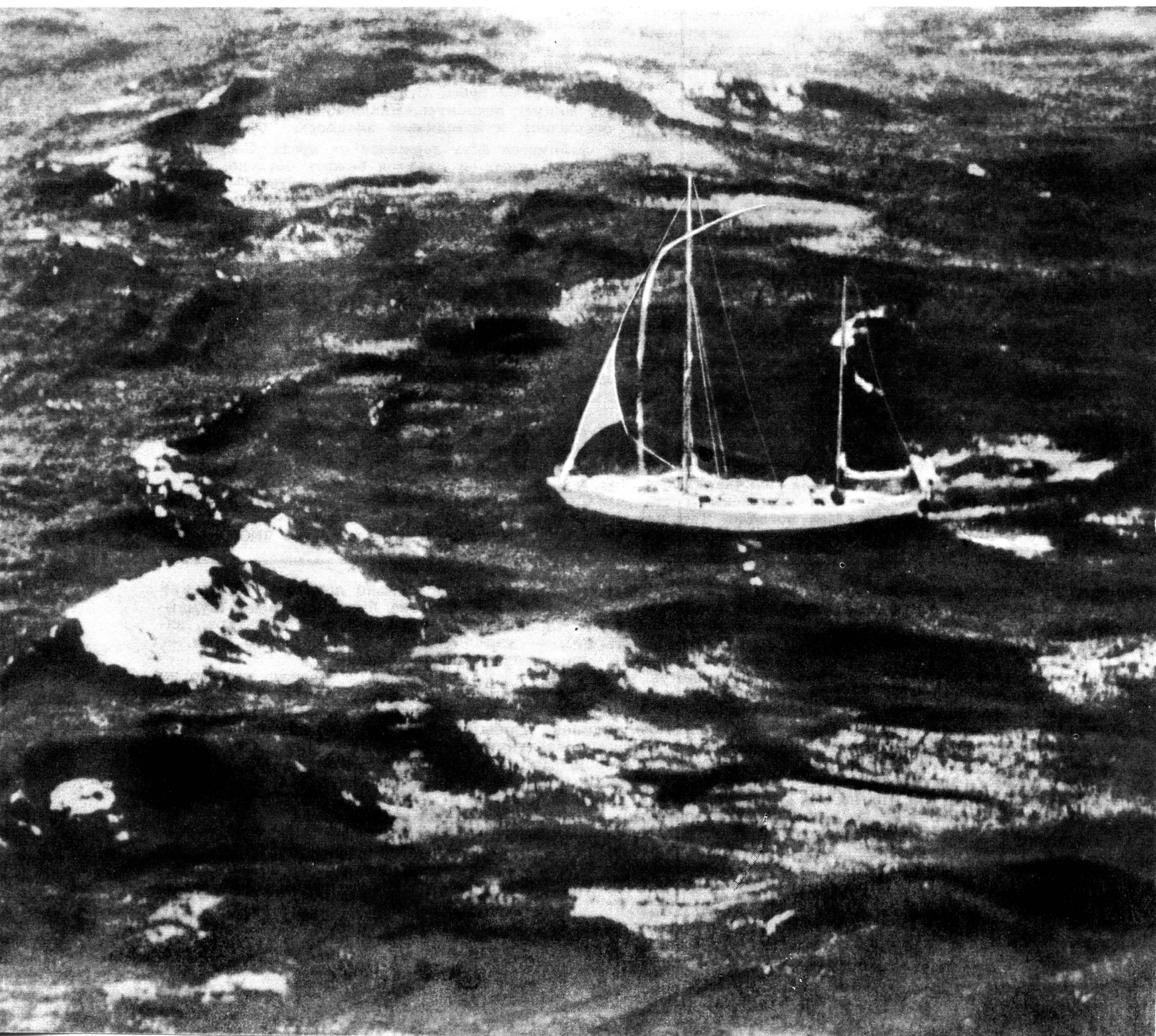
В. ЛЕВИН

Вэлу Хауэлзу не повезло. Имя этого англичанина не значится в списке победителей парусных гонок и переходов, хотя он — из числа первых, вступивших в единоборство с океаном. Более того, Вэл был одним из четырех участников первых трансатлантических гонок яхтсменов-одиночек в 1960 году. С тех пор этот маршрут — от Плимута, Англия, до Нью-Йорка, США, — стал традиционной трассой международных состязаний. Но то был первый поход, и ему посвящена книга, отрывок из которой мы предлагаем вашему вниманию (книга выйдет в издательстве «Молодая гвардия»).

Вэлу Хауэлзу повезло. Он смог написать настоящую правдивую повесть (так отозвались о книге моряки), и в этом уже немалая похвала яхтсмену. Что еще остается добавить? Разве только имена участников — некоторые из них приобрели мировую славу, другие расстались с морем, но все равно они были первыми: Дэвид Льюис шел на «Главной добродетели», у Фрэнсиса Чичестера был «Джипси Мот»,, Блонди Хазлер вел «Шутника», а у валлийца Хауэлза была «Эйра».

ВЭЛ ХАУЭЛЗ

ЗА КОРМОЙ — ОДИНОЧЕСТВО



Выстрел известил, что до старта осталось десять минут, и я сверился с наручными часами. Перед пятиминутным сигналом меня уже всего трясло от нервного напряжения, я не мог усидеть в кокпите, то выскакивал из него, то возвращался на место. Когда стрелка принялась отсчитывать последние минуты, я попытался взять себя в руки. Для этого я отрешился от своих переживаний и нарочно замедлил дыхание.

Независимо от продолжительности всякий одиночный переход — такая задача, что стоит, как говорится, присесть и поразмыслить, прежде чем приступать к ней. Одиночное плавание через Атлантический океан — тем более серьезное предприятие; даже самый храбрый человек задумается над ожидающими его опасностями, во всяком случае, ощутит некоторое беспокойство.

Наконец прогремел стартовый выстрел, и мы пошли. Мы шли по Ла-Маншу, и нам предстояло не раз пересекать пути оживленного судоходства, здесь только дурак позволил бы себе ложиться.

Первая ночь одиночки на маленьком судне в море... На моем счету были десятки таких ночей, но доведись мне пережить это еще сто раз, все равно я не способен расслабиться так быстро после начала плавания. Тело еще не успело приспособиться к порывистым движениям яхты. Пока что человек и судно всего лишь знакомые, ненароком оказавшиеся в суровых условиях. Сотрудничество налаживается не сразу, и нужно несколько дней сносной погоды для подлинного взаимопонимания, чтобы установилось и относительное душевное равновесие.

Звуки первой бессонной ночи. Плеск и дробь бросаемых ветром брызг. Шипение нависающего гребня. Стук и скрип идущего на ветер деревянного судна — отчаянно кренящегося кузовка с разными разностями, скрепленного медными гвоздями и мягкой стальной проволокой.

Поднимись и проверь, нет ли встречных судов. Привычный глаз и ночью видит. На палубе светлее, чем внизу, в темной каюте. Окинуть взглядом горизонт, отметить комбинации топовых и отличительных огней и быстро представить себе курс их судов. Группа тральщиков под ветром. На севере — здоровенный верзила с хорошо заметным зеленым огнем, вероятно, лайнер, идущий вверх по Ла-Маншу, скажем, в Саутгемптон. И с левого борта какой-то тип, видно топовые огни и один красный. А это кто у нас за кормой? Два белых огня, один над другим, красный и зеленый. Обгоняющее судно, лучше за ним присматривать, вдруг это какой-нибудь супертанкер, несущийся со скоростью восемнадцать узлов. Подомнет и даже краску себе не поцарапает, вообще ничего не почувствует... Еще раз осмотреться на случай, если не приметил чего-то за волнами. Теперь можно нырять в каюту.

Следующий день был день для лентяев. Как раз перед утренним визированием небо заволокли тучи, и так как оно оставалось пасмурным, мне не пришлось определять курс в полдень. В итоге я оказался без дела. Решил что-нибудь почитать. Моему другу Джеку было поручено обеспечить судно хлебом и литературой. Когда он, насвистывая, отправился в город, я — как оказалось, неосмотрительно — заключил, что он вернется, скажем, с четырьмя дюжинами книг и полудюжиной булок. Я забыл, что Джек — бакалейщик по призванию. Хлеба было вдоволь — тридцать плесневелых батонов, зато всего шесть книг. Странное чувство пропорции. На сорок, предположительно, дней в море только шесть книг? Но теперь-то ничего не поделаешь.

Что ж, посмотрим. Номер один — *«Землепроходцы»*; представляю себе, как Джек подумал: «Все-таки разнообразие». Следующая — *«Морская рыбная ловля»*. («Будет рад свежей рыбке».) Рука опять ныряет в мешок. *«Океанические птицы»*. («Будет знать, кто летает кругом».) Дальше. *«Приготовление пищи на малых судах»*, издание 1909 года... *«Как стать фермером»*... И наконец, Тэрбер и Уайт — *«А нужен ли секс?»*. Без комментариев.

И это библиотечка для одиночного мореплавателя, способного поглощать по одной книжке в день! Через несколько часов, наполовину одолев Тэрбера, я вдруг сообразил, что лучше поберечь мои ресурсы. С кривой усмешкой отложил книгу и принялся разрабатывать меню обеда.

От «Приготовления пищи на малых судах» было мало толку: «В плавании весьма желательно располагать сохраняющим тепло ящиком с сеном внутри». Книга горячо рекомендовала тушеную зайчатину, а также приспособление, имеющееся в любой «хорошей угольной лавке» и незаменимое для разогревания «достаточного количества вкусных мясных пирожков, которыми предусмотрительный владелец не преминет запастись у своего повара, прежде чем выходить в море».

Люди часто говорят о скуке, ставя знак равенства между нею и одиночеством. Всю жизнь они пребывают в заблуждении, причем настолько погружены в свой искусственный мирок, что им недосуг вникать в душу и чувства других.

«Чем нам еще заняться?» — плачут их дети, а в ста ярдах — река, которую надо пересечь, горка, на которую надо взобраться, угол, за который надо завернуть, и им откроется богатейший мир; а не сделают этого, не вырвутся на волю — и не оценят ее и тоже всю жизнь будут стремиться только туда, где людно. Что они найдут? Тьму сверчков, тщетно силящихся привлечь к себе внимание громкой трескотней.

Я порой сержусь, когда меня считают способным скучать, зато мне почему-то льстит вопрос, бываю ли я одиноким. Первая реакция как бы говорит, что я и мог бы скучать, да не до этого, вторая — что бываю, бывал и сейчас бы не прочь побыть один.

Однако все это не может заслонить того факта, что в четверг двадцать третьего июня, в четыре часа дня я заскучал. А кто меня упрекнет? Один на маленькой яхте, и одинаково далеко до Азорских островов, Юго-Западной Ирландии, островов Силли, Ушанта и Кабо-Вильяно.

Вечером, приняв любимую позу — плечи опираются на трап, одна нога уперта в слань каюты, вторая лежит на ступеньке, — я уныло смотрел под ветер и впервые чувствовал себя слегка раздраженным, может быть, чуточку захмелевшим (с трех наперстков виски!) и несколько обескураженным тем, что моя страсть к одиночным плаваниям через Атлантический океан оказалась не такой сильной, как я думал. Малодушие тут ни при чем, я твердо верил, что мы с яхтой в конечном счете доберемся до Нью-Йорка, не сомневался, что мой опыт и удача решат исход, но меня разочаровал темп продвижения. Посмотри из люка — насколько хватает глаз, простирается океан. Дальше его протяжение ограничивалось пределами моей фантазии, но если ей подсобить, взглянув на карту, мож-

но очень четко сопоставить предстоящие тысячи миль с пройденным путем. Я сопоставил — и перспектива многонедельного одиночества принялась подрывать мой дух. Вечером я слушал радио с небывалым удовольствием; вероятно, еще один признак того, что начинала сказываться изоляция.

А на следующий день настроение снова подскочило вверх, всецело благодаря тому, что из-за линии горизонта на юге появились два стремительных патрульных судна — американцы. Они неслись по волнам, словно возбужденные терьеры, почуявшие нору, и я восхищенно смотрел, как они выписывают сложные кривые, очевидно, связанные с противолодочным патрулированием. Завершив серию маневров, оба на высокой скорости ринулись ко мне; острые носы легко резали волну, зачехленные пушки смотрели на меня. Будь я кроликом, я бы пустился наутек. Но вот они сбавили ход и закружили поодаль — так осторожный, опытный пес ходит вокруг колючего ежа. Наконец один из них разорвал кольцо и подошел вплотную, чтобы обнюхать меня.

— Привет.

Я поднял руку в ответ.

— Далеко вы забрались.

— Ага.

— Все в порядке?

— Все.

Вдоль борта выстроились глазеющие матросы, двигавшие дружно в такт челюстями, пережевывая резинку.

— Куда следуете?

Изо всех сил стараясь говорить небрежно, бросаю:

— В Нью-Йорк.

Они, как по команде, перестали жевать, и ряды ровных белых зубов сверкнули над релингом, отороченным полосой смуглых волосатых рук с ответвлениями, подпирающими любопытные лица.

— Далековато на таком суденышке.

Что ответить на это коллективное заявление, в котором уже заложен исчерпывающий ответ? Я настолько пленен зрелищем такого количества людей, что должен сделать над собой усилие (надеюсь, не очень заметное со стороны), чтобы уловить смысл следующей реплики капитана:

— В чем-нибудь нуждаетесь?

— Вообще-то есть одно дело. Вы не могли бы передать мое послание в Соединенное королевство?

— Ну, конечно, охотно передадим.

Я сообщил им все данные и попросил радировать Королевскому Западному яхт-клубу в Плимут. Моряки заверили меня, что все будет сделано, и с веселыми возгласами пошли дальше, опять пустив челюсти на полный ход. Говорят: желудок двигает войско; может быть, матросы попросту озабочены тем, чтобы мотор не останавливался?

Это соприкосновение с внешним миром здорово меня воодушевило и внушило полную уверенность, что мои близкие получат весточку. Меня уже не раздражали ни пасмурное небо, ни тесная каюта, ни ограниченность чтива.

Черт возьми, почему я не попросил у них нескольких журналов и книжек? Ладно, Тэрбер выдержит и второй заход. А потом можно заняться изучением морских птиц.

ОДИН

Один-одинешенек.

Ты в этом уверен?

Можно с ума сойти.

А тут еще эти ночи.

Час за часом лежишь, не двигаясь, будто мумия, в спальном мешке, притиснутый к борту. Я не могу убедить себя, что есть смысл подниматься на палубу, проверять, не покажется ли какой-нибудь корабль. Сегодня тринадцать дней, как я последний раз встречался с судном.

Других судов нет.

Только мое.

А на нем — я.

В этой части океана редкое движение — триста миль прямо на запад от Азорских островов. Тысячи судов курсируют через Атлантический океан. Миллионы тонн грузов. В эту самую минуту океан пересекает тьма людей, но здесь— никого. Один я ползу на запад в своей пятитонной коробочке, намереваясь присоединиться к «Летучему Голландцу», — и буду ходить в этой части океана, пока земной шар не прекратит свое вращение и не метнет океаны к небосводу, и останется наш несчастный древний мир с морщинистым лицом, как у обезьяны, начинай все сначала. Только без меня. Я буду плыть все дальше и дальше, до самой Луны. Но там — ни гавани, ни хотя бы сносной якорной стоянки. И пойду я еще дальше, и закружит меня планетная орбита. Буду идти так тысячелетия, пока не заштилюю в виду Берегов Вечности.

— Верно, как дважды два — пять.

Я сажусь, зажатый в тисках собственных мыслей.

Как там поживает моя жена в Сондерсфуте? Радуется? Горюет? Думает, что я утонул?

— Она слишком разумный человек.

Занята детьми?

— Как там ребята?

Что я здесь делаю?

— Брось ты метаться, ведь не один же ты пошел.

Чувство вины перед оставленной женой — лишь часть того, что меня тревожит. Вопрос, что я здесь делаю, можно толковать по-разному. Например, что я делаю именно в этой точке? В трехстах милях прямо на запад от Азорских островов, на маршруте, которым ходят из Плимута в Нью-Йорк небольшие пароходы. Ведь я же участвую в гонках через Атлантический океан. Блонди, Фрэнсис и Дэвид идут много севернее и все считают, что можно совершить переход за тридцать дней. Дьявольщина, я уже тридцать дней в море, а покрыл только половину дистанции. Еще тридцать дней? Мало того, что я приду последним, на меня в пору будет надевать смирительную рубашку, если я пришвартуюсь.

— Ты непременно пришвартуешься!

Откуда такая уверенность? Тебе еще предстоит чертовски длинный путь, почти две тысячи миль. Мало ли что может случиться на этой дистанции. Консервы уже на исходе. Слава богу, воды вдоволь. Без еды можно протянуть долго, без воды — от силы пять дней. А тут еще этот ветер, чтоб ему провалиться. С самого начала держится западных румбов. Сплошные весты. Они истреплют мои нервы в клочья. По мне лучше ревущий шторм, чем эти бесконечные четыре-шесть баллов западного направления.

Мы до одурения бодаем волну, а остальные ребята, наверно, преуспевают. Конечно, на их долю тоже приходится встречный ветер, но там, на севере, условия все же куда разнообразнее. Сколько осталось до Нью-Йорка?

— Около двух тысяч миль.

Силы небесные. Еще месяц в море.

— А почему бы тебе не зайти на Бермуды?

Как-как?

— Зайти на Бермудские острова. Ты почти на их широте, и тебе все равно обходить Гольфстрим.

А это не будет смахивать на капитуляцию?

— Ни капли. Все равно проходить мимо, и ты заслужил право заглянуть туда.

Неплохая мысль, хотя вообще-то нам следовало бы идти прямо на Нью-Йорк.

— Ладно, не будем сейчас ничего решать. Посмотрим, что ветер скажет.

Пожалуй, ты прав.

Ты речистый.

Слабовольный.

Справа по носу, примерно в полумиле видно несколько больших силуэтов. Узнать их совсем не трудно.

— Кит! Кит!

Да, это киты.

Здоровенные, с точки зрения валлийца. Их там с десяток, если не больше. Они, похоже, никуда не торопятся, знай ходят взад-вперед, а парочка разлеглась на поверхности, пускают фонтаны вроде тех, что на ярмарках поддерживают в воздухе целлулоидные мячики — мишень для юных стрелков. Все стадо мало-помалу перемещается на север, заходя в нос яхте. Пожалуй, стоит повернуть на румб к ветру, пусть у них будет побольше пространства для маневра.

Наблюдаю внимательно и не без легкой тревоги. Помнится, акула показалась мне большой. Что тогда сказать об этих? Они ОГРОМНЫЕ. Одни лежат, не двигаясь, возможно, спят, и волны омывают их могучие туши. Другие ходят вокруг, но в их повадках нет ничего хищного. Непохоже, чтобы мне что-нибудь грозило; слава богу, что они так миролюбивы. Стоит одному из них подплыть к нам и разинуть свою пасть, тут и конец Хауэлзу с его яхтой. Поодаль два кита лежат голова к голове, будто шепчут что-то друг другу на ухо. Один из них поднимает исполинский хвост, плавники которого величиной с мою яхту, и легонько — для него легонько—шлепает по воде. Снова замахивается и бьет, теперь уже посильнее, так что с обеих сторон взлетают вверх фонтаны брызг. Опять поднял хвост. Подержал на весу. И обрушил его на бегущую волну с таким звуком, словно щелкнул бич. Еще. И еще. В воздухе висят каскады воды. А вот и подруга поднимает свой хвост. Замахнулась — удар. Хлоп, шлеп, полюби меня, Боб. Должно быть, заигрывают. Два здоровенных дитяти брызгают водой друг в друга. Они довольно близко, можно камень добросить, но не замечают меня. О других этого не скажешь. Особенно вот об этом, который отделился от стада и медленно ходит взад-вперед на траверзе. Вряд ли я ошибусь, предположив, что его послали разведать и доложить. Что прикажете делать, когда любопытное млекопитающее тонн на сто задумало проверить, друг вы или враг?

— Добрый вечер! — кричу я громко и внятно.

Лучше не мямлить, чтобы не давать ему повод подойти поближе, вы согласны?

— Хороший денек, верно?

Это истинная правда. Тем не менее я начинаю нервничать. Уж очень близко он подошел и продолжает не спеша идти на сближение. Отклоняюсь к югу на румб.

Я облегченно вздыхаю, разойдясь с китом.

А двое влюбленных все играют в ладушки с морем, высоко разбрасывая брызги. Может быть, это молодожены и то, что я вижу, это их первый небольшой разлад? Не дай бог попасться им под руку, если дойдет до настоящей потасовки!

С наслаждением разворачиваю старую газету. Кажется, по приезде я стану настоящим газетоманом. Хорошо быть чего-то-маном. Кстати, что это означает? Что вы чем-то пресыщаетесь? Хорошим или плохим? В таком случае я гонкоман. Господи, до чего я пресытился трансатлантическими гонками одиночек!

Мне нужно лечиться.

Движение — вот что мне нужно.

Забираюсь на палубу рубки. Ложусь на спину. Смотрю на гик и горбатый парус. Что-то тело ноет. Возвращаюсь в кокпит. Сажусь, будто в ванне. Ноги задираю вверх. Спина опирается на руки, как на подлокотники. Вращение ногами. Словно педали крутишь.

ТРИСТА ОБОРОТОВ.

Еще. И еще.

Бицепсы лоснятся. Суставы похрустывают. В ушах стучит. Глаза зажмурены. Белки налились кровью. Живот напряжен. Поясницу саднит.

Хватит.

Солнце по-прежнему светит. Ветер по-прежнему дует. Волны по-прежнему бегут. Яхта по-прежнему идет. Лаг по-прежнему вращается.

ЧЕЛОВЕК по-прежнему ЖИВЕТ.

Я понимаю, что это не выход. Возможно, мне и впрямь не хватает физической нагрузки, зато мозг чересчур нагружен. Сознание жужжит и мечется, как пчела, и, как пчела, садится, где надо и где не надо.

— Слыхал, в Индии есть такие ловкачи, могут месяц сидеть на гвоздях?

Мне бы уметь так настраиваться.

— Как они это делают?

Попросту отрешаются от собственного тела. Сидят на гвоздях, и пока длится испытание, душа где-то витает. Скажем, прогуливается в благоухающем саду и знать не знает ни о каких неприятностях.

Интересно смог бы я так?

— Ты только что это проделал. Верно.

Я чувствовал себя достаточно сильным и собранным, чтобы послушать радио. Оно предложило легкую музыку и неизбежные «последние известия в начале каждого часа». Новости представляли собой сплошной перечень бедствий, как стихийных, так и вызванных человеком. Наконец диктор подвел черту под панихидой и прочел сводку погоды. В заключение он добавил, что в районе Кубы образовался первый ураган сезона.

Я резким движением выключил радио.

— Первый ураган сезона.

А интонация-то какая! Буквально представляешь себе, как он надел на голову черную шапочку, произнося эти зловещие слова. Еще одна забота, черт бы ее побрал.

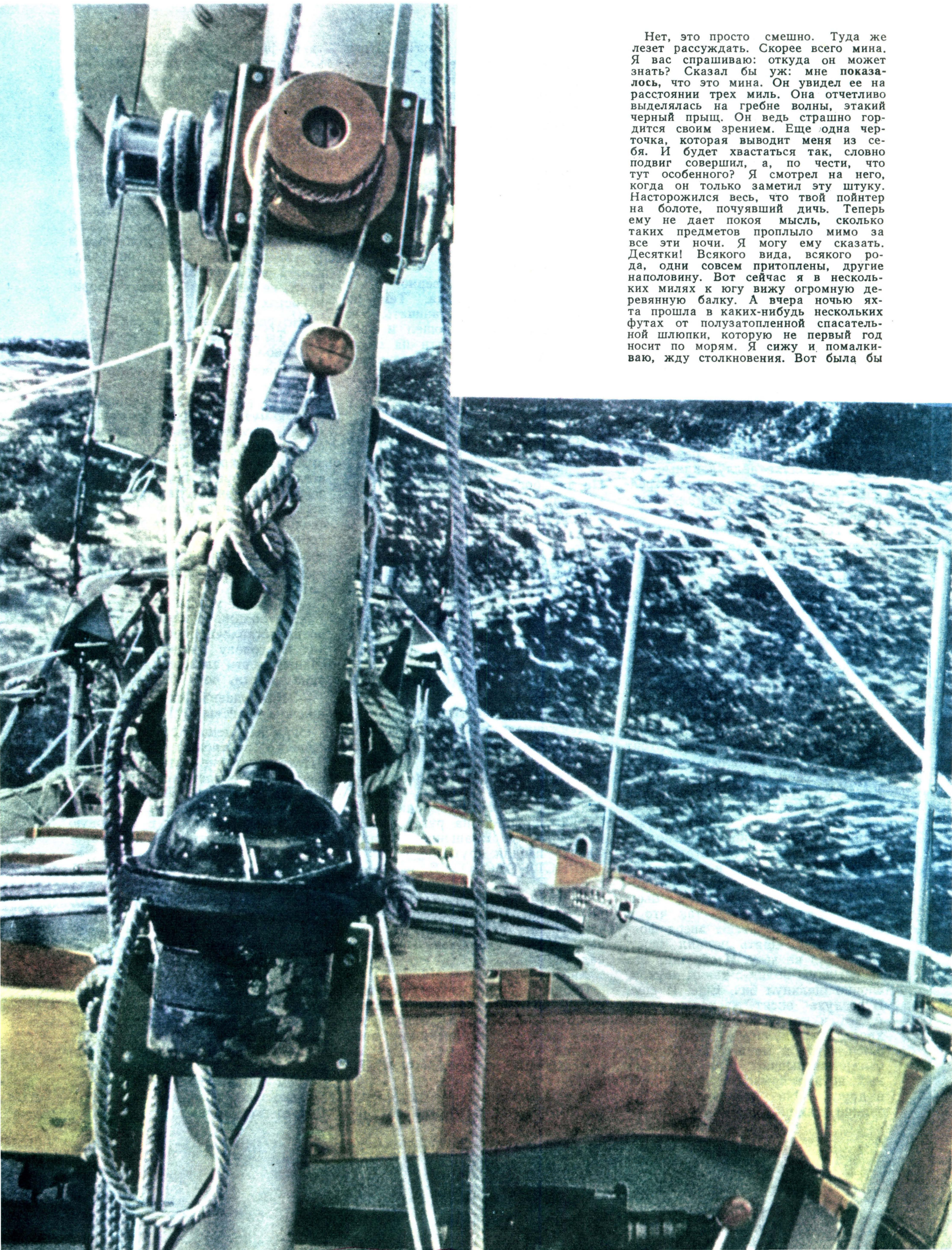
— Как развиваются эти вест-индские ураганы?

Одни перемещаются вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, другие вторгаются во внутренние области, сея опустошения на материке. А некоторые, основательно поработав в Карибском море, отходят в Северную Атлантику, так что и я не застрахован.

— Эта яхта может выдержать ураган?

Если отвечать коротко, то нет.

Еще один день хорошего хода — до Бермудских островов осталось семьсот двадцать пять миль. Пополудни впереди показывается какой-то темный круглый предмет. Изменять курс нет надобности, мы проходим рядом, в двадцати ярдах южнее. Предмет ржавый, с длинным хвостом из водорослей, диаметром около четырех футов, и на столько же выдается из воды. Скорее всего мина.

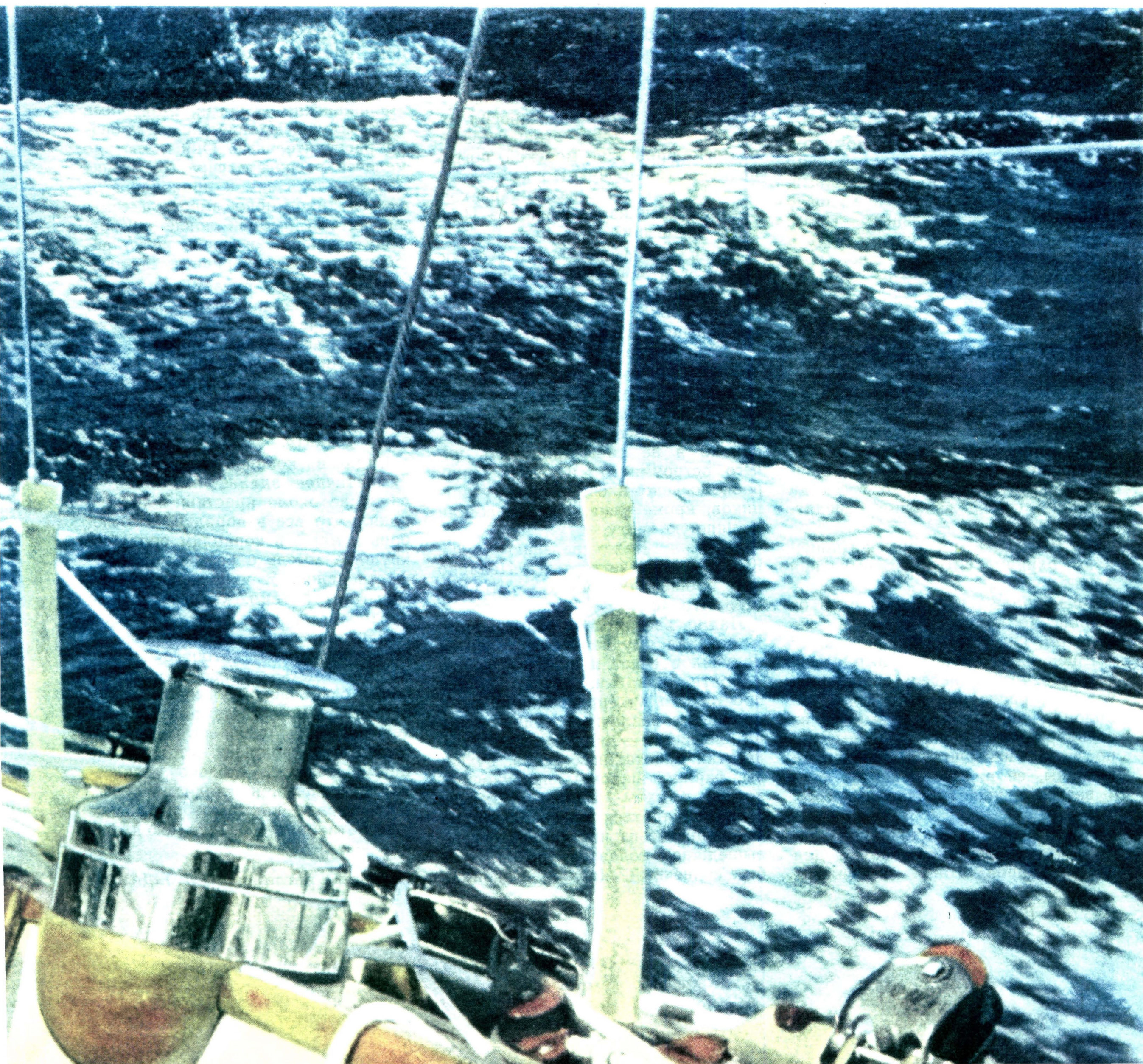


Нет, это просто смешно. Туда же лезет рассуждать. Скорее всего мина. Я вас спрашиваю: откуда он может знать? Сказал бы уж: мне **показалось**, что это мина. Он увидел ее на расстоянии трех миль. Она отчетливо выделялась на гребне волны, этакий черный прыщ. Он ведь страшно гордится своим зрением. Еще одна черточка, которая выводит **меня** из себя. И будет хвастаться так, словно подвиг совершил, а, по чести, что тут особенного? Я смотрел на него, когда он только заметил эту штуку. Насторожился весь, что твой пойнтер на болоте, почуявший дичь. Теперь ему не дает покоя **мысль**, сколько таких предметов проплыло мимо за все эти ночи. Я могу ему сказать. Десятки! Всякого вида, всякого рода, одни совсем притоплены, другие наполовину. Вот сейчас я в нескольких милях к югу вижу огромную деревянную балку. А вчера ночью яхта прошла в каких-нибудь нескольких футах от полузатопленной спасательной шлюпки, которую не первый год носит по морям. Я сижу и помалкиваю, жду столкновения. Вот была бы

потеха. Увидеть, как он, словно сумасшедший, выскакивает из каюты. Спал, разумеется. Сколько я ему твержу, что он стал спустя рукава относиться к наблюдению! Представляете себе, с каким треском яхта врежется, скажем, в бревно вроде того, с которым мы разошлись накануне? У него будет всего несколько секунд на то, чтобы выбраться на палубу, обдирая голени о трап и завывая пособачьи от отчаяния. Если ему повезет, успеет еще перерезать найтовы спасительного плотика, прежде чем яхта затонет, и следом за ним бросится за борт, в чернильную воду. И не сможет найти штерт для накачки плотика. А какая разница, он все равно не уверен, что плотик удержался бы на воде. Он с самого начала считает себя чересчур тяжелым для такого хлипкого сооружения. Допустим даже, он все-таки сможет накачать эту штуку, заберется на нее и будет сидеть на манер Будды неделю за неделей, беспомощно дрейфуя в океане. Я вам прямо скажу, мне вовсе не улыбается составлять ему компанию. Лучше заранее расстаться, пока до этого не дошло. День за днем — на этом резиновом плотике, нет уж, увольте. Он считает, что ему теперь туго приходится, — подождите, то ли будет. У него сейчас по полгаллона пресной воды на день, на плотике придется обходиться одной пинтой. Я его уже предупредил, объяснил, чтобы первые сутки совсем не пил и подготовил почки к тому, что их ожидает. Потеха! Пусть знает, что после нескольких дней потогонной работы они начнут усыхать по мере того, как его организм будет обезвоживаться под шлюпочным тентом. Конечно, он знает, что я его оставлю. Я его сколько раз предупреждал. И толковал ему, что хорошо еще, если он сможет забраться на плотик. Примерно в полумиле к югу от нас ходят акулы — здоровенные бестии. Бедный Хауэлз. Я ему об этом говорил. Они живо пронюхают, что приключилось что-то неладное, и уж не упустят случая позабавиться. Сколько раз я видел эту картину. Плавающие в море люди. Заманчиво болтающиеся в воде ноги. И запах страха. Я сам его за милю чую. И акулы тут как тут, он успеет даже помолиться этому своему дурацкому богу. Вы не знали, что он молится? Лишнее подтверждение того, что я вам еще раньше говорил. Жалкий человек. Я в этом убедился. Да только никакие молитвы ему не помогут. Акулы все равно приплывут. Он знает, чем это пахнет. Только вчера я ему подробно описал. Сперва они походят кругом, удостоверятся, что им самим нечего опасаться. Штук двенадцать их, может быть, больше, и вот одна, самая голодная, быстро так направляется к нему. Как ни плыви, как ни барахтайся, не уйдешь. И первая же акула его доконает. С чего начнем — с ноги? Или руки? Вы когда-нибудь видели пасть акулы?

Провожая взглядом таинственный предмет, я спрашивал себя, сколько он уже странствует по морям...

Попозже в тот же день я принимал гостя — крупная птица с полчаса кружила в воздухе над яхтой. Казалось, она подозритель-



но изучает пришельца, вторгшегося в ее дотоле неоскверненную обитель. Большая, с наших валлийских чаек, оперение почти сплошь белое, и длинный развевающийся хвост, который поразил меня своей величиной. Лапки черные, клюв черно-красный.

Закончив осмотр, этот пернатый дурень попытался сесть на топ мачты. Глупая птица, не довольствуясь преимуществами, дарованными ей природой, захотела немного прокатиться на попутной. Но что за рефлексы! Или это она от волнения? Вот мачта на миг замерла, и птица идет на посадку, воздушные тормоза включены, крылья трепещут. В последнюю секунду яхта накреняется, и пернатый пилот непростительно мажет. После нескольких неудачных попыток, сопровождавшихся жалобным писком, птица решила действовать более энергично, но перепончатые лапки сорвались с гладкой алюминиевой оковки, и она с хриплой бранью пролетела фута два вниз вдоль мачты, причем запуталась крылом в вымпельном фале.

Сидя в кокпите, я хохотал — впервые за много дней. Эта птица была прирожденным комиком. Длинный хвост придавал ей вид весьма почтенный и даже важный, для такой особы падение было особенно оскорбительным. После повторных неудач птица сдалась и возвратилась на свой боевой пост за кормой. Я наградил ее бурными аплодисментами.

ЧТО ТЕБЯ ЗАСТАВЛЯЕТ?

— Здесь «Эйра», «Эйра», «Эйра» вызывает морскую пограничную охрану США, Бермудская зона.

Повторив вызов несколько раз, я перешел на прием, но из динамиков вырывался только треск да хлопки. Снова включил передатчик.

— Вызываю морскую пограничную охрану США, Бермудская зона.

Весь положенный набор слов от начала до конца, и с таким же успехом. Ни ответа, ни привета.

Еще один повод улыбнуться. Столько дней и недель сожаления, горького раскаяния из-за того, что поломка аккумулятора вывела из строя радиостанцию, — и вот, явно из-за неверно установленной антенны, ее радиус действия оказывается меньше предполагаемого.

Как только на востоке показался плавучий маяк «Эмброуз», для нас с «Эйрой» гонки окончились. Медленно подходя к уродливому красному судну, которое, словно гора, возвышалось над яхтой, я чувствовал, что опускается занавес, обозначая конец последнего акта слишком долгого спектакля. Два месяца жил я в тесной (для человека ростом шесть футов четыре дюйма — очень тесной) коробочке и за это время изучил суденышко не хуже, чем заключенный в одиночке свою камеру. Впрочем, моя маленькая скорлупка не сковывала меня, ее нельзя было сравнить даже с панцирем черепахи. Ведь «Эйра» перенесла меня через Атлантический океан, и я гордился ею.

Мы тихо пересекли линию финиша, я поднял свой флаг и убедился, что валлийский дракон выглядит вполне сносно, если учесть, что большую часть истекших двух месяцев он трепался на краспице — причем, наверно, в глубине души сомневался, позволит ли ему эта трепка прибыть в Новый Свет в респектабельном виде.

Несколько членов команды плавучего маяка стояли у фальшборта, и я этак небрежно спросил их, не могут ли они отрапортовать о моем прибытии морской пограничной охране Нью-Йорка.

— Ты что, тоже из этих психов, которые шли наперегонки из Плимута в Англии?

Пришлось сознаться, что это так.

— Тогда ступай себе дальше, вон туда, приятель, — добродушно продолжал американец, кивая на крыши Нью-Йорка. — Тебя встретит катер и отведет к карантинному причалу.

Меня вполне устраивал такой бесстрастный прием, и хотелось вернуть ему мяч в той же манере, однако я не смог придумать ничего остроумного и всего лишь робко осведомился, сколько участников, кроме меня, уже пересекли финишную черту.

— Э-э... Даже не знаю точно. Кажись, ты четвертый. Недавно тут прошел какой-то — Шайчестер, что ли.

Ладно, хватит меня разыгрывать. Я показал ему согнутый палец и получил в ответ широкую улыбку.

Войти в гавань было проще простого, и мы присоединились к полчищам различных судов. Куда ни погляди — могучие лайнеры, десятки каботажных судов, буксиры, баржи, паромы, прогулочные катера и яхты. Ближе к берегу стали попадаться плоскодонки, на большинстве из них сидели негры, вышедшие половить рыбу. День был солнечный, жаркий, и знойная дымка над рекой смазала очертания гигантских небоскребов Манхэттена. Глядя на них, я ощутил легкую тревогу. Я уже привык к бесхитростной жизни в океане, теперь мне предстояло столкнуться с миром напористой американской предприимчивости, который олицетворяли эти великаны. Впрочем, приступ провинциальной робости продлился недолго. Он уже проходил, когда катер пограничной охраны остановился рядом с яхтой и подал конец, и окончательно исчез, когда они рванули с места с такой скоростью, что пришлось просить их идти потише, пока они не разнесли мою яхту.

Только став на бочку, аккуратно уложив паруса и наведя чистоту и порядок в каюте, я по-настоящему почувствовал, что прибыл в Америку; кончилась двухмесячная болтанка. По соседству покачивались у своих бочек «Шутник» и «Главная добродетель». Как и следовало ожидать, потрепанные океаном, они выглядели довольно неказисто рядом со сверкающими краской и хромом роскошными американскими судами, стоявшими у яхт-клуба. Их владельцы — люди рассудительные. Они умеют до мелочей расписать свой год, копят деньги к отпуску и проводят этот отпуск тихо-мирно вместе с семьей; яхте и рыбной ловле они отводят уикенды и очень четко регулируют свои умеренные запросы.

У меня яхта путает все карты. Время от времени тихий, ласковый голос шепчет мне, что пора бы уже остепениться. Мол, тот факт, что ты — гордый владелец яхты, сам по себе еще не основание для того, чтобы планировать кругосветное плавание. Но этот голос не может меня убедить.

Сидя в кокпите и глядя на симпатичное здание яхт-клуба и снующие около пристани ялики, я понял, что все в порядке. Что любовь к морю и кораблям опять сокрушила мысль о размеренном существовании. Я никак не мог согласиться с теми, кто считал или предполагал, что переход через Атлантический океан — такое достижение, после которого моряк может сидеть на своей широкой корме с довольной улыбкой на обветренной роже. Если хотите знать, переход через океан на маленьком суденышке рождает столько же новых желаний, сколько удовлетворяет старых, и, глядя на берег, я чувствовал, как некоторые из них уже потихоньку бередят мою душу.

Перевел с английского Л. ЖДАНОВ

САМАРКАНД - ПУТЕШЕСТВЕННИК.

Городам обычно не свойственна такая «привычка». И все же, как установили недавно ученые Института истории и археологии АН Узбекистана, Самарканд, один из древнейших городов планеты, действительно «кочевал» — он дважды переезжал с места на место...

...Для археолога путь в глубины веков лежит сквозь сантиметры земли. И находки ученых, снимавших у подножия самаркандской цитадели один вековой пласт земли за другим, вели их от наших дней на протяжении восьмисот лет. Но в слое XI века находки прекратились — словно в старинной крепости, которая издавна считалась городским центром, в то время никто не жил. В чем же дело — ведь точно известно, что самаркандская цитадель была возведена много раньше?.. Пустыми оказались для археологов и следующие вековые пласты — новые находки были сделаны лишь в слое VII века... В жизни цитадели был перерыв: на какое-то время она была полностью заброшена... Город переезжал!

Объясняется загадка так. Свой первый «переезд» город совершил в начале царствования Саманидов — самаркандской династии, пришедшей к власти в VII веке. Уничтожив своих предшественников, Саманиды хотели уничтожить в народе даже память о них. И новая резиденция правителей, объявленная центром города, была выстроена далеко в стороне от прежнего центра. А вслед за новым центром перекочевал и весь Самарканд. Цитадель и стоящие рядом с ней дома, брошенные самаркандцами, оказались за городской чертой...

Лишь в XI веке, когда к власти пришли Карахиниды, правители вновь обосновались близ старой цитадели. Она была полностью восстановлена, и город вернулся к тому месту, откуда начал свое путешествие.

ЗАГАДКИ ПРОЕКТЫ ОТКРЫТИЯ





ЖРИЦА САТАВКОВ. В № 11 нашего журнала за 1966 год был опубликован очерк керченского археолога Д. Кирилина «Золото Старшего брата», рассказывающий о находках золотых изделий в одном из курганов Северного Причерноморья, воздвигнутом скифским племенем сатавков. Недавно в результате дальнейших исследований достоянием науки стал еще один шедевр древнего искусства, найденный в том же кургане.

— Рядом с уступчатым склепом, — рассказал Д. Кирилин, — на ритуальном возвышении были обнаружены три огромных каменных обломка, некогда составлявших одну плиту. Очистив их от земли и сложив, мы увидели рельеф трехметровой высоты... Перед нами было, по-видимому, изображение жрицы, погребенной в кургане «Старшего брата», — изображение той, кому принадлежали найденные ранее золотые украшения и драгоценная диадема.

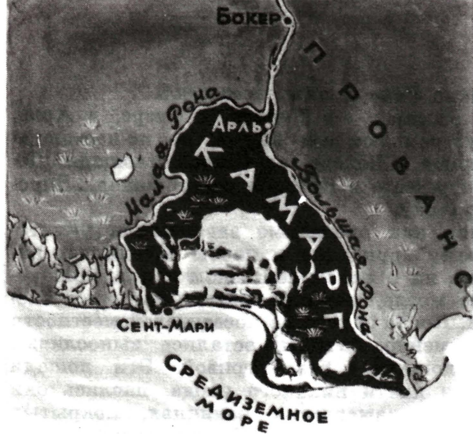
...В длинных одеждах жрица сатавков сидит на фоне портика храма, чуть повернув голову к воину-скифу. Прощаясь со своей повелительницей, которую уже поджидает погребальная колесница, воин спешился и держит в поводе своего боевого коня.

По сложности композиции это изваяние не имеет аналогий в надгробиях античного Северного Причерноморья. А в манере выполнения чувствуется, что безвестный скульптор следовал художественным законам гениального греческого ваятеля Фидия.

КАМАРГ

Л. МИНЦ

Ненасытное тщеславие, снедавшее римского сенатора Анния Камара, вступало в открытое и непримиримое противоречие с плачевным состоянием его кошелька. Анний Камар не обладал ораторским искусством, и граждане Вечного города не пересказывали на Форуме друг другу его речей; не был он и великим полководцем, чтобы увековечить свое имя триумфальной аркой; не был Анний и поэтом. Он не мог построить себе виллу в Остии и содержать собственных гладиаторов. Но все же мучительно хотелось славы.



Камарг... «37 000 акров заповедных земель на юге Франции!» «Дикий Запад в миниатюре!» «Край белой лошади и фламинго!» — так говорят про этот треугольник земли, с двух сторон ограниченный водами Роны, а с третьей — морем. В Камарге действительно все это есть — и белые лошади, и черные быки, и розовые фламинго, и жгучее «ван-гоговское» солнце над виноградниками Арля, и картинные ковбои... И все?

Нет. Еще есть бедная просоленная земля, которой не прокормить всех ее жителей, есть двадцать пять принадлежащих одному человеку монад, где пестуют знаменитого камаргского бычка. Слава Камарга не только веселая, но и грустная — слава одного из беднейших уголков Франции.

Камару было за тридцать, когда умерла тетка и оставила небольшое наследство. В это время в Галлии, недавно завоеванном и абсолютно диком краю, распродавались земли. Цены были скорее символические.

Анний Камар приобрел обширный участок. В плане он напоминал треугольник, образованный рекой Большой Роданус, ее притоком Малый Роданус и морем. В вершине треугольника было единственное в этом краю цивилизованное поселение, основанное греками из Масилии.





Местность во владении была болотистой, почва — соленой. Весной Большой и Малый Роданусы разливались, заливая внутреннюю часть треугольника, а поскольку часть эта была низменной, вода там застаивалась. Солнце за лето осушало землю, выпаривая воду, но зато вся соль, растворенная в воде, оставалась в почве. Туземцы тоже не радовали Камара: они были не в силах даже выговорить имя хозяина земли, коверкая его на свой варварский лад — «Камарг». Камар вложил деньги в строительство канала от берега моря до греческого поселения Арлис. И канал окупился — греческие купцы, народ оборотистый и ловкий, щедро платили сенатору за пользование каналом.

Сенатор разбогател, и теперь мечты о славе посещали его уже не столь часто, он больше думал о делах реальных. Анний Камар построил несколько небольших каналов для ирригации, которые спустя несколько столетий разрушили франки. Потом их восстановили. Потом вновь разрушили готы. Потом — Аттила. Потом — сарацины... Больше их не восстанавливали.

Но уже ничто не в силах было вычеркнуть из истории имени римского сенатора Анния Камара. Потому что в силу разных — несчастливых и счастливых, исторических и геологических — причин небольшой треугольник, образованный Большой и Малой Роной и берегом Средиземного моря, стал тем удивительным, ни на что не похожим краем, имя которому — Камарг.

Через две с небольшим тысячи лет после смерти сенатора Анния Камара на обочине шоссе Арль — Бокер стоял молодой человек спортивного вида, призывно вздымая большой палец навстречу летящим машинам.

Среди помех благородному делу хичкайкерства — передвижению на попутных машинах — не последнее место занимает эгоизм водителей. Проносясь мимо, они делают вид, что не видят тебя. Лучше бы уж головой мотнули — нет, мол; было бы не так обидно по крайней мере.

Эти и многие подобные мысли проносились в голове спортивного молодого человека, второй час «голосовавшего» на обочине шоссе Арль — Бокер. Забитое машинами не слишком широкое шоссе (потомок сработанной рабами Рима дороги) являло собой картину пеструю и странную. Со страшным скрипом и шумом двигались по шоссе в великих клубах пыли гигантские фургоны с итальянскими, испанскими, бельгийскими номерами. У каждого фургона чего-нибудь да не хватало: крыши или дверцы, или того и другого; внутри видны были кучи тюфяков и всякого разноцветного тряпья, курчавые чумазые дети, женщины с огромными серьгами в ушах.

Полугрузовичок, притормозивший у обочины, был, несомненно, ниспослан небом.

— Куда надо? — крикнул водитель. — В Камарг? Садитесь!

Сигналя и чертыхаясь, водитель продирался сквозь скопище машин и повозок.

— Посмотреть приехали?

— Посмотреть.

— В Камарге есть что посмотреть. Видели? — водитель кивнул в сторону стоящего у дороги фургона. — Цыгане возвращаются из Сен-Мари. Со всей Западной Европы туда съезжаются цыгане, ведь в Сен-Мари хранится статуя их покровительницы — святой Сарры. Церковь ее не признает, но цыгане чтут. Теперь тут даже туристы ездят по программе: сначала смотрят цыганский обряд в Сен-Мари, потом едут в Бокер, посмотреть на прогон быков, а уж потом в Арль на корриду. Вы в Сен-Мари не были?

— Нет, — отозвался пассажир. — К сожалению, должен торопиться в Бокер.

— Я это видел один раз. Собрались цыгане со всех концов, многие по-французски и слова не говорили. Статуя святой Сарры хранится в приделе церкви святой Марии. Оттуда ее вынесли, переодели в новое платье, поставили в лодку, оттолкнули от берега, а сами вроде бы и не смотрят в ее сторону. Когда она отплыла довольно далеко от берега, как они в воду бросятся, прямо в праздничной одежде, вытащили статую на берег и отнесли в церковь. Вот и весь обряд. Вроде бы они и сами толком уже не знают, почему так. А охраняет статую один старик — «цыганский король». Его зовут Эманюэль Батист. Смотрите, смотрите — гардьены!

Рядом с шоссе проскакали несколько всадников: широкополые шляпы, джинсы, полусапожки, в руках длинный трезубец.

— Прямо Дикий Запад! — улыбнулся пассажир.

Шофер расхохотался:

— Немножко играют ребята. Сами понимаете, какой тут Дикий Запад! Размеры не те. А все же где вы еще найдете во Франции место, где в дождливый сезон, кроме как на коне, не проедешь?

На окраине Бокера они расстались.

Везде в Камарге — в Кэпаре, в Овере, в Арле, наконец, устраивают гон быков, но по-настоящему это делают в Бокере, на Старой площади. Дело в том, что всего в Камарге сорок монад... Впрочем, по порядку.

С тех пор как очередные завоеватели уничтожили систему ирригации и почвы засолились настолько, что ни о каком серьезном земледелии речи быть не могло, местные жители занялись скотоводством. После одного из посетителей местности Камарг, а именно Аттилы, остались выносливые маленькие лошади с белой гривой. Эти лошади не требовали почти никакого ухода, паслись они на бескрайних камаргских равнинах, покрытых жесткой солоноватой травой. На камаргских лошадей был спрос во всей южной Европе. Их ценили за выносливость и неприхотливость.

Кроме лошадей, в Камарге разводили и поныне разводят быков. Первых быков привезли сюда греки — поселенцы, основавшие Арлис. Эти греки вели родословную с острова Крит, где, кстати, и были первые известные нам игры с быком. Потомок критского быка — небольшой, крепенький, черный и очень злой — это и есть идеальный камаргский бык (точнее говоря, только он и есть «камаргский бык»).

Быков воспитывают на монадах — камаргских ранчо. Девиз воспитания прост — самостоятельность, самостоятельность и еще раз самостоятельность. Гардьены — французские ковбои — лишь следят за тем, чтобы животные не калечили друг друга. Обо всем другом быки заботятся сами.

Всего в Камарге сорок монад. На двадцати пяти из них выращивают камаргских быков, а на пятнадцати — испанских и португальских. Очевидно, полагают, что от характера пищи — жесткой солоноватой травы, недостатка воды, от необходимости вечно бороться за место у водопоя — характер испанского или португальского быка изменится и он станет камаргским. Какая нелепица! Камаргским быком может быть только камаргский бык. Кстати, для настоящих коррид в Испании берут только камаргского быка, а вот для бескровной корриды в Арле сойдет и пиренейский.

Когда бычки достигают определенного возраста, то есть, как говорят в Камарге, «начинают видеть рогами», гардьены отбирают лучших из каждой монады. Эти лучшие поедут за Пиренеи, где встретятся с лучшими тореро.

Лучшие из этих лучших бычков пробегут в последний раз через Бокер.

На Старой площади владельцы кафе собирали с тротуаров стулья и столики, поднимали тенты. Двери кафе были открыты настежь, чтобы посетители, будь на то охота, смогли бы сойтись с маленьким камаргским быком, не отходя, так сказать, от заведения.

Где-то вдали раздались крики «Ли бью! Ли бью!». Стали отчетливее топот и цоканье копыт.

— Ли бью! Ли бью!

Крики уже совсем рядом.

— Сейчас появятся, — сказал какой-то пожилой человек. — Будете пробовать счастье?

— Я, собственно, за тем и приехал, но...

— Главное, быть в себе уверенным. Кричите как можно громче «Ли бью» — быки этого не выносят — и всячески старайтесь обратить внимание быка на себя. Когда бык кинется на вас, надо

подпустить его как можно ближе, хлопнуть рукой между рогов и увернуться от его удара. Поняли? И не бойтесь. У него на рога надеты пробки от шампанского. Ну уж если очень не повезет — ложитесь и не двигайтесь, камаргский бык вас не тронет. Ну же, ну!

На площадь галопом, отфыркиваясь, выскочила тройка быков. «Ли бью! Ли бью!»

Он тоже крикнул: «Ли бью!» — и рванулся вперед, но бык, как ему показалось, не обратил на него внимания, и он крикнул еще и еще «Ли бью!», но тут нога его поскользнулась на апельсинной корке, брошенной каким-то преступником, выродком, извергом, и он грохнулся на мостовую, и лежал там, и не смел поднять голову, жалкий и смешной, а рядом с головой затихал топот, грохот, цоканье, и сверху слабея неслось: «Ли бью!», и кто-то ловкий, верно, хлопал быка по лбу и лихо увертывался от увесистых рогов.

Тогда он встал, отряхнулся и пошел подыскать место в гостинице, потому что автобус на Арль шел только с утра, а события сегодняшнего дня утомили его.

Через площадь гнали новых и новых быков, но он не смотрел на них. Быков гнали через город. Лучшие быки отправлялись в Испанию, где их ждала новая школа, где опытные педагоги готовили их специально для коррид.

Но ему теперь было все равно. Он бросил заплечный мешок под кровать, лег, не раздеваясь, и пролежал так до вечера.

Он не видел, как вновь вернулись столики на бокерские тротуары. Он не видел, как туристы, передохнув от дневных впечатлений, пошли табунками на берег Роны, где на мостках уже стояли шезлонги. Отсюда удобно смотреть, как купают в Роне полудиких камаргских лошадей с развевающимися белыми гривами.





ЭЛЕКТРОННЫЕ РОБИНЗОНЫ

Их можно встретить в тундре, где на десятки километров вокруг ни жилья, ни человека. Под фиолетовым небом гор, среди жарких пустынь, на арктических льдинах, в океанском просторе. Они плывут, дрейфуют, летят. Они везде. И отовсюду они передают сообщения о температуре, влажности, ветре — о том, из чего складывается погода. Автоматические метеостанции, автоматические радиобуи. Сегодня без них немыслим правильный прогноз погоды.

А начинались они так.

В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ

Ночь, мороз, темнота. Черные стены домов: улица как огромная траншея. Где-то вдали ухают выстрелы. Меж сугробами петляет тропинка. Два тяжело нагруженных человека в штатском еле бредут по ней. Ленинград в блокаде. Зима 1941 года.

Еще квартал позади, еще... Год назад пустяком бы показалось одолеть такую дорогу. А теперь неизвестно, хватит ли сил дойти.

Скрип чьих-то шагов. Ближе, ближе. Патруль!

— Кто такие?

Луч фонарика выхватывает из темноты протянутые документы. На них написаны фамилии ночных путников: А. В. Горелейченко, Д. Я. Суражский.

— Что несете?

Они несут чертежи. Рулоны чертежей.

— В комендатуру!

Этот приказ скорее всего и спас их.

...В строгих лаконичных линиях чертежей, в графиках и формулах нередко заключены судьбы и сюжеты, достойные благоговейных книг. Чертежи, составлявшие странный груз двух обессилевших людей, не были исключением. Своим языком — языком цифр и линий они могли бы рассказать о том, как в 1933 году, восемь лет назад, молодая советская метеорология скромно и деловито отметила одну из своих первых побед, тогда, может быть, и не оцененную как следует: установку на острове Гукера, что в архипелаге Франца-Иосифа, первой в мире автоматической метеостанции.

Такие метеостанции были остро необходимы, и необходимы давно. На нашей планете немало глухих уголков. Немало мест, куда труд-

21 сентября 1968 года впервые в истории советский космический аппарат «Зонд-5», облетев вокруг Луны и исследовав окололунное пространство, успешно вернулся на Землю со второй космической скоростью. Беспримерный полет «Зонда-5» открыл широкие перспективы дальнейшего исследования космического пространства и планет солнечной системы автоматическими станциями с последующим возвращением материалов исследования на Землю.

Прогресс космической техники подобен ширящейся реке; его могучее течение имеет свои истоки. У одного из них, сами того не подозревая, стояли люди, создававшие для нужд Земли первые автоматические метеостанции.

но добраться, еще трудней жить. Но и оттуда должны поступать сведения о погоде. Атмосфера едина, все события в ней взаимосвязаны — чтобы делать точные прогнозы, метеоролог должен располагать как можно большим объемом информации. Выход виделся в автоматических радиометеостанциях. Они, подобно робинзонам, в полном одиночестве должны были оставаться там, где природа сурова, и безотказно нести свою службу месяцы, годы.

Но длительной работы от первых автоматических метеостанций 1933—1934 годов добиться не удалось.

Вероятно, только специалист способен полностью оценить и меру труда, затраченного на создание новой конструкции «электронного робинзона», и оригинальность решений, предложенных ее авторами — Коноплевым, Горелейченко, Стефановским, и злокозненность «мелочей» при доводке, и горечь неудач, равно как и радость успехов. Неудач хватало — работа растянулась на несколько лет. И все же успехов было больше: к началу 1940 года опытный экземпляр новой метеостанции был готов. Его испытания, проводимые под Ленинградом в Павловске, должны были закончиться осенью 1941 года.

Метеостанцию удалось спасти чуть ли не в последний момент, когда бои шли уже в нескольких километрах от Павловска.

И хотя положение на фронте было чрезвычайно напряженным, а Ленинград уже захлестнуло кольцо блокады, начальник Главного управления гидрометеослужбы СССР Е. К. Федоров отдал приказ продолжать испытания и отправить для этого станцию в Арктику.

...Когда А. В. Горелейченко рассказывал об этих днях, мне вспомнилась одна инструкция. Ее распространяли среди немецких солдат фашистские «роты пропаганды». Там говорилось: «Каждый родившийся в 1941 году здоровый мальчик может стать в 1961 году прилежным солдатом». Фашисты рассчитывали воевать еще как минимум двадцать лет. Не обязательно с русскими: с русскими планировалось покончить еще до зимних холодов... А советские ученые в эти непередаваемо тяжелые дни думали не только о победе над врагом, но и о том, какими инструментами они будут исследовать в 1961 году мирную землю.

Но автоматические метеостанции могли послужить Родине и в дни войны.

Фронт требовал прогнозов погоды. А погода, увы, формируется на западе: оттуда идет теплое дыхание Атлантики. Однако метеостанций за линией фронта не было...

Никто уже сейчас не помнит, кому пришла мысль забросить в тыл врага метеостанцию-автомат. Это была отличная идея: самолет сбрасывает станцию на парашюте, она спускается где-нибудь в глухом лесу, из нее выползает антенна — и в приемный центр летят метеосводки, добытые из-под носа у противника!

Над конструкцией «автоматического метеодесантника» Горелейченко с товарищами и специалист по парашютной технике Д. Я. Суражский начали работать в Ленинграде — в осажденном городе, где подвигом была не только работа — даже сама жизнь. Умирали чертежницы. Некоторые — прямо за чертежными досками. В конце концов в конструкторском бюро остались лишь Горелейченко и Суражский. Горелейченко весил 42 килограмма, Суражский — 36. И все же работа шла...

В середине декабря в городе выключили электричество.

Но о метеорологах не забыли. Ночью в квартиру громко постучали. Нарочный доставил телеграмму: «Самолет за вами вылетит сегодня вечером. К утру будьте на аэродроме. Федоров».

И они побрели к аэродрому. Брели без уверенности, что дойдут. Вот тогда их и задержал патруль.

В комендатуре разобрались что к чему. По счастливой случайности в эту ночь на аэродром шла машина. Комендант устроил их на эту машину...

С МЕТЕОСТАНЦИЕЙ — В ТЫЛ ВРАГА

И снова ночь, темная, как тогда, в Ленинграде. Непроницаемая, настороженная лежит внизу земля. Самолет словно повис в воздухе — так долго тянется время. Грудь оплетена парашютными лямками. Оружие и аппаратура — все под рукой. Горелейченко летит испытывать автоматическую радиометеостанцию — АРМС, как ее теперь называют. Летит в тыл к фашистам. История техники еще не знала таких «полевых испытаний». Да и в истории войн не было такого своеобразного десанта.

Все обошлось как нельзя лучше. Вражеские зенитки стреляли вяло, линию фронта прошли благополучно, сели в целости — и люди и метеостанция.

Ее устанавливали в глухом лесу, в тридцати километрах от партизанской базы. Ведь фашисты могли запеленговать вдруг появившуюся у них под носом рацию, тогда бы вниз полетели бомбы...

Ни у кого, конечно, не шевельнулась тогда мысль, что эти испытания — прообраз тех, которые начнутся через двадцать пять лет и закончатся спуском автоматической лаборатории на планету, блистающую в солнечных лучах где-то в восьмидесяти миллионах километров от Земли. Шла война, метеорологи чувствовали себя солдатами, и такие фантазии — они были чем-то бесконечно далеким от реальности, чем-то стоящим на грани сказки.

А на деле связь была. Конечно, те автоматические лаборатории, что исследуют ныне космическое пространство, Луну и Венеру, похожи на первые АРМС не больше, чем современные реактивные лайнеры походят на «этажерки» первых лет авиации. Но принципиальной разницы между ними нет. Задачей АРМС было: на Земле без участия человека собирать сведения о воздушной среде и передавать эту информацию за сотни километров по радио. А задача космических лабораторий? Автоматически, без участия человека собирать сведения о внеземном пространстве и передавать эту информацию на Землю... Неизмеримо возросли масштабы, невиданно усложнились задачи, разительно изменилась техника, но родство не исчезло.

«Электронные робинзоны» Земли; «электронные робинзоны» космоса; и вот теперь уже новый качественный шаг: очередной автоматический разведчик — «Зонд-5» огибает Луну и возвращается на Землю. Это уже не «робинзон», а скорей космоплаватель, чья гавань — планета Земля. Прогресс космической техники подобен ширящейся реке; его могучее течение имеет свои истоки.

У одного из них, сами того не подозревая, и стояли люди, вылетевшие с метеостанцией в тыл врага.

...Аппаратура установлена, включена. Плывут облака, шум ветра катится по вершинам деревьев. Люди бросают на станцию последний взгляд и уходят. Теперь автоматы должны все делать сами. Следить за заморозками и потеплением, дождем и давлением воздуха. Точка на карте — крохотный участок фронта погоды, и на нем поставлен электронный солдат. Справится ли он?

Вскоре пришел с нетерпением ожидаемый ответ из Москвы: сигнал принят, качество передачи хорошее.

НАД БЕЗДНОЙ

«Лоция Охотского моря» сообщает об Ионе, что это необитаемый остров, который «...представляет собой скалу, круто поднимающуюся из воды на высоту 540 футов (165 м)».

Остров Иона открылся в легком тумане вечером 10 сентября 1944 года. На гальку высадились без приключений. Через час шлюпка отвалила к судну, оставив на берегу груз и пятерых членов экспедиции: Горелейченко, Суражского, начальника экспедиции мичмана Челпанова и матросов Павлова и Пешкова. Автоматическую метеостанцию (их уже выпускали малой серией) надо было установить на этом затерянном острове — пристанище сивучей и чаек.

Лоция оказалась права. Сразу за отмелью поднималась почти отвесная скала. Альпинистов среди новоявленных обитателей Ионы не оказалось. Мичман Челпанов, пользуясь правом начальника «не делать ничего за своих подчиненных за исключением случаев, связанных с опасностью для жизни», обвязался веревкой и полез на скалу без всяких альпинистских ухищрений.

Двадцать метров — это семиэтажный дом. Четверо внизу молча наблюдали, как метр за метром росла высота. Снизу скала казалась гладкой как стол. Но, видимо, стол был порядком повыщерблен, потому что Челпанов хоть медленно, но карабкался вверх.

Вершина, где должны были встать две двадцатиметровые мачты антенны, оказалась узеньким, не шире двух метров, скальным гребнем. Справа и слева обрывались крутые откосы. Дóма, в Подмосковье, мачту шутя ставили за час-полтора. Здесь на каждую ушло по двое суток. Главная трудность была в том, что путь из лагеря на вершину, эти несчастные полтораста метров высоты, занимал два с половиной часа. Больше двух рейсов в день сделать никому не удавалось. Крутые скалы, обрывы, постоянное чувство опасности — все это страшно изматывало. А когда поднимали собранные мачты, тем, кто держал боковые растяжки, пришлось буквально висеть над бездной.

«И только мы эти мачты подняли, — вспоминает Д. Я. Суражский, — слышим: аплодисменты, как в театре. Мы просто оторопели! Посмотрели вниз — а это сивучи из себя блох выколачивают, шлепают плавниками по брюху, по груди... Так мы этот факт и отметили в бортовом журнале: сивучи-де бурными аплодисментами приветствовали успех метеорологов».

До той поры счастье сопутствовало островитянам. Последний раз оно улыбнулось вечером 16 сентября. Мачты поднимались к небу, между ними тянулся трос антенны, крутилась под легким ветром на вершине одной из мачт вертушка анемометра. В восемнадцать ноль-ноль передатчик метеостанции послал Владивостоку первую радиограмму. Наутро за экспедицией должен был прийти сейнер.

Шторм обрушился внезапно, в полном согласии с коварными обычаями Охотского моря. Волны перекатывались через двадцатиметровой высоты скалы, торчащие у берега. Лагерь располагался на отметке 15 метров. Волны в одно мгновение слизнули продукты и почти весь запас пресной воды.

Шторм стих только через два дня. Сейнер не появлялся. Не пришел он ни на третий, ни на четвертый день. Положение становилось тревожным. Рации для связи с Николаевском не было. Осталось одно: ждать.

Командующий Тихоокеанским флотом послал к Ионе минный заградитель. Управление торгового флота дало радиограмму на транспорт «Либерти», идущий в Сан-Франциско, — изменить курс.

29 сентября оба судна почти одновременно подошли к Ионе. Голые скалы серели в легком тумане. Не было слышно ничего, кроме рева сивучей да отчаянного визга чаек. В бинокль виднелись одни только голые камни. Ни признака человека. И лишь когда шлюпки приблизились к острову, кто-то заметил вспыхнувшую над темным силуэтом скал красную звездочку ракеты...

Метеостанция проработала на острове целый год. Изо дня в день, четыре раза в сутки, выходил в эфир метеоролог-автомат. Когда через год Горелейченко с Суражским — теперь уже в компании кинооператоров — снова очутились на острове, оказалось, что станция находится в идеальном состоянии.

Вслед за островом Ионы АРМС появились на Памире, на скалах пика Комсомолец, на леднике Федченко, на острове Змеином в Черном море, в Каракумах, в глухой якутской тайге, на северном побережье Баренцева моря. Поднялись мачты антенн на Кавказе, на Новой Земле... Это была уже целая автоматическая метеосеть! Подобные сети метеостанций появились за рубежом лишь через семь лет.

Вместе с Горелейченко и Суражским я перебираю фотографии метеостанций. Вот старушка АРМС, вот ПАРМС, АРМС-1, АРМС-2, АРМС-3. Вот последняя модель: АРМС-3М. Она работает не только у нас. Ее покупают Финляндия, Бельгия, Югославия, Алжир, Чехословакия.

И еще один снимок: станция с атомным источником питания. Он может снабжать метеостанцию электроэнергией пять, а то и больше лет. И все это время с антенны будут срываться сигналы, несущие сведения о погоде.

...Прогресс техники подобен ширящейся реке. Сегодня прямые потомки первых АРМС несут службу погоды по всей Земле, тогда как их дальние родственники исследуют дорогу к другим мирам. Пройдет время, и уже потомки современных АРМС станут «часовыми погоды» на других планетах. Неизменным останется одно: талант и упорство человека.

В. ДЕМИДОВ

ГДЕ СЕВЕР?

Б. ВАСИЛЕВСКИЙ

Это хорошо знают составители «Толкового словаря». Север — «одна из четырех сторон света», «северная, холодная страна», а кроме того, «Арктика, холодный пояс земного шара». Хорошо знаете и вы, когда только еще собираетесь туда, не сомневаются и ваши друзья. «В Магадан? — спрашивают они и уточняют: — На Север, значит».

В Магадане как раз август, и ничто не напоминает о «северной, холодной стране»: жаркий, белый, скорее похожий на южный, портовый город. Но вы едете дальше. «В бухту Провидения, на Чукотку? — спрашивают вас новые, магаданские знакомые и завидуют: — А вот я еще ни разу не был на Севере».

В Провидения все вас поражает: узкая бухта с отвесными берегами, и пароходы, и сопки с черными каменными склонами, с нерастаявшим снегом на острых вершинах. Даже дощатый сарай на берегу кажется вам необыкновенным, потому что омывают его воды Берингова моря.

И дальше все будет так же: с удивлением вы замечаете, что Север отступает, отодвигается по мере того, как вы стремитесь к нему, уходите в эту, «одну из четырех сторон света». Не Север и Лаврентия: широкий залив с низкими, размытыми туманом очертаниями берегов, и низкие сопки, покрытые осенней, порыжевшей травой, и незаметный, слившийся с берегом поселок. «Оставайтесь у нас,— говорят в Лаврентия.— Чего вы не видели на этом Севере?»

Но вы еще ничего не видели на Севере. Правда, по дороге вы отмечали признаки его приближения: старух-чукчанок в самолете, в камлейках, с полосками татуировки на носу и щеках, бородатых летчиков в меховых, несмотря на лето, куртках — все это вы раньше хотя и не видели, но знали. Ваше представление о Севере создано книгами. И поэтому для вас все это — сопки, тундра, сияния, снег, долгие полярные дни и ночи — уже не новость, потому что все это уже было, превратилось в обыкновенную экзотику.

Наконец вы попадаете в поселок на самом берегу Ледовитого океана, но и для него есть свой Север — там, откуда осенью приходят льды.

И может быть, где-то здесь вы понимаете — нет для вас абсолютного Севера. Север — это то, к чему вы стремитесь, как к бесконечности, никогда не достигая. Поняв это, вы махнули рукой, успокоились, живете, как все, покорились «экзотике»: приобрели унты, ружья и курите трубку, на которой долгим зимним вечером вырезали: «Уэлен».

Холодный пояс земного шара? Пурги? Да, но еще с осени заново оштукатурены стены, замазаны окна, обита дверь — изнутри войлоком, а снаружи оленьими шкурами — и угольник доверху засыпан углем, а в чулане полно теплой одежды: все эти ватные и меховые куртки, и нерпичьи штаны, и торбаса, и оленьи рукавицы, и свитеры,— но в столовую или магазин вы бежите в легких ботинках и брюках. И, рассматривая в журналах фотографии полярников среди нагромождений льда или одиноких путников на снежных равнинах, вы ловите себя на том, что ищете, не высовывается ли где угол дома, или конец трубы, или гусеница вездехода, потому что точно знаете, что все это рядом, в двух шагах. Но и фотограф свое дело знает — ничто не высовывается...

А между тем Север накапливается в вас по мелочам, которые здесь так важны и живо обсуждаются всеми: вчера ветер был южный, а сегодня северный; утки хорошо летят, сильный шторм; снега в этом году мало, а прошлой зимой в это время все камни на сопке уж были закрыты; куропатка подлетела к самому дому — утром вышел, а она сидит у крыльца; сосед убил нерпу; песцы куда-то ушли из тундры; завтра обещали самолет... На стене висит силуэт «Аннушки», вырезанный из какого-то журнала, и календарь, в котором дни, когда прилетал самолет, отмечаешь крестиками. Потом можно подсчитать: чаще всего он прилетает зимой, в промежутках между пургами, а весной распутица, а летом частые туманы, а осенью дождь...

Так проходят три года, близится отпуск, едешь на материк; и тут-то через некоторое время и начинают возвращаться и овладевать тобой все эти мелочи, подробности, с которыми свыкся там и не замечал. Теперь, когда уехал, понимаешь, что Север — это и сопки, та линия сопок на юге, которую выучил наизусть, и тундра, тот сухой бугор за лагуной, где раньше всего весной сходит снег и где подолгу сидишь, карауля налетающих на озера гусей, и киты, стада которых во множестве появляются осенью у берегов, плывут в пролив и на юг. И, лежа на узкой раскаленной полоске пляжа, где-нибудь между Лазаревской и Сочи, вдруг приподнимаешься, вглядываешься в застывший на горизонте пароход и бормочешь слова, малопонятные для окружающих: «Коробка. На Певек. Генгруз».

НОРМАН МЕЙЛЕР

СТАВКА НА НЕБЕСА

Повесть





ОТЕЦ МИЭРИ, апрель 1942-й, день третий

Посвяти ему себя целиком...

Иногда все они бежали, иногда шли шагом, ползли и снова бежали. Все, и с ними индеец Райс, отец Миэри и капитан, — все они сыпали проклятиями и спотыкались; тридцать человек загребали воздух руками, неистово работали локтями, ползли, мало-помалу отставая друг от друга.

— Живей! — кричал капитан. — Живей, живей!

Оглянувшись на него, отец Миэри споткнулся и упал. Было слышно, как вдали все еще спорили пулеметы, — яростно, будто они не выносили друг друга, и эти звуки колотились и громыхали у него в голове. Он кубарем покатился по земле, и капитан с руганью изо всех сил дернул его за плечо.

— Давай-давай! Нужно добраться до того дома.

Мимо него поодиночке пробегали люди, и, хотя его тоже захватила общая паника, он чувствовал себя отдельно от них. Ничего не понимая, он тяжело поднялся с земли. Труся за отступавшими и чувствуя рядом капитана, чье присутствие заставляло его бежать, он говорил себе, что этому человеку не следовало бы так кричать на него, офицера армии господа бога.

Норман Мейлер — один из ведущих современных американских писателей; автор острого антивоенного романа «Нагие и мертвые».

Книги Мейлера последних лет «Заметки о президенте», «Каннибалы и христиане», «Почему мы во Вьетнаме?» — книги сторонника борьбы за гражданские права, за мир во Вьетнаме — стали событиями не только литературной, но и общественной жизни США.

Писатель принимал участие в многотысячном походе на Пентагон. События этих октябрьских дней 1967 года легли в основу его публицистической книги «Армии ночи».

Мы предлагаем вниманию читателей повесть Нормана Мейлера «Ставка на небеса». В ней — горькая правда о людях, которых предала Америка, взяв у них все и ничего не дав взамен.

Он ничего не понимал, у него в голове вдруг все смешалось, бурля, как эта бегущая масса людей; и того, что случилось со второй линией траншей, он не знал. Два дня они отбивали японцев, затем линия обороны вдруг оказалась прорванной, исчезла, и теперь он бежит с этими людьми...

— «Отче наш, иже еси на небеси», — начал он машинально, и тут же позади раздался жесткий стук пулеметной очереди — механическое знамение смерти, и, почувствовав на своей спине чью-то руку, он пал ниц, словно для того, чтобы услышать вражеский крик победы, который раскатами доносился с берега. Затем они опять вскочили на ноги и только бежали, бросаясь на землю всякий раз, когда застрочит пулемет, и то и дело оступаясь на рытвинах какой-то из улиц Тинде. Его молитвы стали несвязными, смешались.

— «Славься, дева Мария, Pax est...»

И он снова ощутил себя частью этой рвущейся вперед бесформенной массы людей, которые с храпом бежали... Куда? Его движениям недоставало уверенности, пухлые руки как будто что-то ловили в воздухе, когда он оступался, догонял остальных и опять оступался, отчаянно стараясь не упасть, чтобы не отстать от этих людей, бежавших... Бежавших куда? Их направлял капитан. «Капитан, должно быть, знает, — думал он. — Капитан — военный человек».

Под ним — он это почувствовал — подогнулись



Рисунки Г. ФИЛИППОВСКОГО

его тонкие ноги, почувствовал, как он дохнул в землю и как весь город Тинде растворился в его материальном «я», когда выстрелы с поля боя — «С римской арены», — подумал он, — когда выстрелы, раздаваясь все ближе, ближе, превратились в невыносимый стук пулемета. «Мне не нужно бросаться на землю, — подумал он, — я и так уже на земле». Пулемет замолк, затем он почувствовал, как земля поползла из-под него куда-то вкось. В следующий миг он сообразил, что кто-то вскинул его к себе на плечо и понес головой вниз, лицом к потной и жесткой спине. Он следил за своим крестиком, который выбился из-под одежды и, нечестиво дергаясь, болтался у плеча; а когда крестик оторвался, он проводил его взглядом, как будто это была птица, исчезающая в небе. Крестик сразу потерялся из виду, но он все еще напрягал глаза, хотя видел только землю, которая, отступая, металась из стороны в сторону. Его охватил ужас; голова налилась тяжестью, было скверно от неловкого положения тела, да и спина, на которой он лежал, была узковатой, — все это усиливало его страх. Рядом бежали люди — на их лицах тоже был ужас. «Линии прорваны, — говорил он себе и спрашивал: — Но как? Когда?» Он совершенно утратил чувство времени. Нет, он не понимает в таких делах, не разбирается в них, он благочестивый человек, но японцы-то прорвались, желтые греховные лица. Язычники они, они не поймут, не проявят уважения к служителю господа бога. Он потерял свой крест, они пристрелят его вместе с остальными.

Над городом курилась смерть.

Пулемет снова застучал — где-то рядом. Несший его человек вскрикнул, пошатнулся и упал. Вместе с ним упал отец Миэри, и их тела нелепо сплелись на земле. Он почувствовал, что его лицо в крови, и, повернув голову, понял, что никто уже не бежал и что все лежат, распростершись на земле, там, где их застала пулеметная очередь, в то время как над ними японские пулеметы — теперь их было два — вели свой яростный разговор. Отовсюду слышались стоны, и ему казалось, что это гибнут не люди, а их души... Значит... Он подумал о заупокойной службе. На его лице была кровь, но боли он не чувствовал...

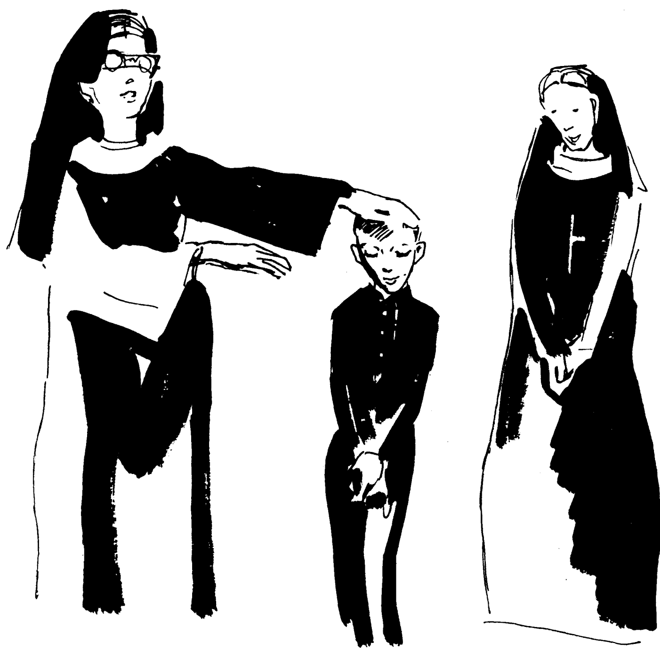
Однажды, когда он жил в Сан-Франциско, у него случилось несчастье, и скорбь не оставляла его долгие месяцы. Как-то вечером — это было зимой — он откуда-то возвращался и, почувствовав голод, зашел в первый попавшийся ресторан. Это был недорогой ресторан, и, чтобы отвлечься от своего несчастья, он заказал самый роскошный обед. Еда была отличной, официантка — очень привлекательной. Ее лицо немного напоминало лик одной из мадонн, которую он видел в своей семи-

нарии во Флоренции. Покончив с едой, он заплатил доллар за обед и, чувствуя себя счастливым оттого, что видит очаровательное личико, добавил полдоллара на чай. Она очень удивилась, а он, совершенно счастливый, сказал: «Если мне что-нибудь и нравится, так это вкусная еда, сердечное обслуживание и чтоб подавала хорошенькая официантка, вроде вас». Застеснявшись того усилия, которое он сделал, чтобы придать чувственность своему голосу, он вышел, прежде чем она успела поблагодарить его. Оказавшись на улице, он вдруг, как никогда раньше, почувствовал себя совсем несчастным.

...Пулемет снова принялся за них, кромсая распластанные вокруг тела. Над ними на бреющем полете несколько самолетов буравили небо.

— Гиблое дело, гиблое дело, — бормотал кто-то рядом. Ужас пронизывал все его тело — до кончиков пальцев, каждый мускул зажил сам по себе и бился мелкой дрожью. Он осознал возможность близкой смерти, и это вызвало в нем новый приступ страха — другого, неведомого ему прежде. А на дороге, где он лежал, вовсю шло переселение душ. Ему было страшно. Всю свою жизнь он прожил, готовясь к встрече со смертью, но теперь ему было страшно. Он не понимал почему. А затем все его мысли рассыпались, и остался один лишь страх. Потом тишина, и только солнце, пригревавшее ему спину. Снова пулемет, нечестивый, одержимый яростью: бог исполнял свою непостижимую волю.

Должны ли они все умереть здесь, вот так, на дороге, под огнем пулемета, который методично переходил от одного тела к другому, по-видимому, без конца сомневаясь, что обрабатываемые им тела мертвы? Он увидел, как возле него кто-то вскочил с земли и швырнул в пулемет гранату. Где-то послышался крик, и раздался взрыв. Пулемет замолчал. Вокруг люди уже были на ногах и бежали. Вставая на четвереньки, он считал бегущих — их было, как он полагал, десять или двенадцать, — пока ему вдруг не стало ясно, что он безнадежно отстал. Из последних сил он бежал за ними следом и кричал: «Капитан Хиллард, капитан! Капитан!» — кричал, пока не упал. Кто-то бегом вернулся за ним и потащил его волоком, лицом вниз, по земле, обдиравшей его пухлую белую плоть. Он старался сдерживать стоны, а затем боль прекратилась: сухая твердая земля сменилась влажной, почти жидкой грязью. Он вспомнил. Они подбегали к дому, что на самом краю болота. Теперь в возгласах как будто слышалось ликование. Человек, который волок его, разжал руки. В этом человеке он узнал Томаса Райса — нужно будет поблагодарить его. С холма их полоснул еще один пулемет, и люди опять повалились на землю. Его глаза запорошило землей, он не мог их открыть, и в этот ужасный момент его потащила чья-то рука; почти на карачках его подвели к подвальному окну; вползая внутрь, он почувствовал, как по его бокам скребнули шершавые ребра каменного проема, и, пролетев по воздуху два или три фута, шлепнулся на груду мешков с песком. Пока он отползал в сторону, через него перекатывались другие. Все еще ошеломленный, он приоткрыл краешек глаза. В этот момент кто-то злобно влепил ему пинок. Посмотрев вверх, он увидел Далюччи, но гнева не почувствовал. Католик был этот человек или безбожник?.. Э-хе-хе... Уж эти мне итальянцы!..



Ситуация становилась ему яснее. Теперь он вспомнил, что три дня назад этот дом приспособили для обороны. На самом краю болота... Здесь прохладно, только бы не стало слишком сыро. Он почувствовал, как его опять куда-то потащили... «Кажется, стены подвала обложены мешками с песком... меньше будет осколков, — подумал он, — от них, это известно... Вот если бы только не жуткая боль в запястье. Должно быть, повредил, когда упал с окна». Убережет ли это их от артобстрела? — поинтересовался он и тут же сел, охваченный паникой. Сколько осталось людей? Он насчитал четверых, пересчитал снова — кроме него, было только четверо: капитан Хиллард, Далюччи, Райс и белокурый солдат, которого он не знал. Неужели после того, что было, ему все-таки придется умереть? Он видел, как индеец стрелял из пулемета и как белокурый подавал ему диски. Он слышал, как белокурый приговаривал:

— Так их, сержант! Угости-ка их еще, угости их получше, этих скотов!

Священник безучастно отметил бранные слова — за время пребывания в армии ему приходилось слышать и не такое. Хотелось бы знать, думал он, насколько здесь можно чувствовать себя в безопасности и действительно ли этот кирпичный дом убережет их от японцев.

В окно заглянул узкий солнечный луч, и он следил за ним как зачарованный...

...Уже несколько месяцев сестра Виттория относилась к нему с особым вниманием; она делала ему комплименты на занятиях, когда он хорошо готовил уроки, и была скорее печальной и несчастной, чем сердитой, когда он накануне слишком долго носился с мячом по улице. Он даже заме-

тил, что она говорила о нем сестре Жозетте и часто ставила в пример как лучшего ученика в классе. Ему это нравилось. Дети называли его «любимчиком учительницы», но это доставляло ему мало хлопот, потому что он всегда любил заниматься — во всяком случае, больше, чем волтузить мальчишек на улице. Так что, когда сестра Виттория однажды подозвала его к себе и, потрепав за щечку, дала письмо для матери, он не был удивлен.

Мать медленно прочла это письмо несколько раз, и ему было стыдно за нее, стыдно за ту тревогу, с которой она читала. И еще он думал о том, насколько приятнее стоять рядом с сестрой Витторией: от нее всегда веяло прохладой и свежим запахом крахмала. Однако когда мать подняла глаза, на ее лице была счастливая улыбка. Потом они долго разговаривали. «Становись священником, Тимоти, — говорила она, — становись священником, и господь бог всегда будет с тобою». Он все время чувствовал, что, произнося эти слова, она испытывает неловкость. «Это большая честь, ты ведь сам знаешь, большая честь». А потом еще: «Посвяти богу себя целиком, не дели любовь к нему ни с женщиной, ни с деньгами, конечно, и он пребудет с тобой во веки веков». А он, еще совсем ребенок, долго молчал, прежде чем ответить. «Не хочу я быть священником, мама. Я не чувствую к этому призвания». Она вздохнула. «Тебя будут уважать больше, чем кого бы то ни было из твоих друзей. Даже больше, чем самых богатых людей. А ты знаешь, как это важно для бедного человека?» Несчастный, он покачал головой. «Подумай об этом», — сказала она.

Через две недели он стоял в маленьком кабинете сестры Виттории. Она обратилась к нему своим мягким красивым голосом, за которым, как он подозревал, был какой-то подвох. Наконец, когда она спросила: «Разве ты не чувствуешь, что в тебе шевельнулось призвание?» — он сильно напряг живот, чтобы вызвать хоть какое-нибудь чувство или ощущение, — потом много лет спустя с этой же целью он втягивал живот, когда разглядывал религиозную живопись. «Я думаю, сестра, что все же немного чувствую в себе призвание». Она улыбнулась. «Счастливый ты, Тимоти, ты будешь ощущать его все больше и больше. Очень мало таких людей, которые настолько благочестивы, чтобы чувствовать его с самого начала». Уже в дверях он повернулся к ней и сказал: «Сестра Виттория, кажется, я чувствую, что оно уже стало немного больше».

В столбе солнечного света проплывали мириады красных пылинок. Он видел, как индеец то и дело прикладывался к пулемету, видел капитана, который стоял рядом, и слышал, как он говорил:

— Прибережем миномет. Пусть они сперва выставят свой, а до тех пор жарь из пулемета. Здесь мы под прикрытием, мы сможем раздолбать их миномет — они и опомниться не успеют. Нельзя отдавать эту дорогу. Есть еще одна, которая тоже ведет к прибрежному шоссе, но и она прикрыта таким же домом, как этот... Только, наверное, людей там побольше.

Отец Миэри пытался заставить себя сотворить молитву. «О господи, я готов предстать пред тобой», — думал он в отчаянии. Но тут с потолка упал кусок штукатурки, несколько крошек попало ему на грудь, и вместе с ними он ощутил прикосновение смерти. Однажды, разговаривая с этими людьми, он сказал: «В стрелковой ячейке не бывает атеистов. В вас, конечно, нет столько веры, сколько есть во мне, но все вы верите во всемогущество божие». — «Так ли, отец Миэри?» — прервал его кто-то. Он повернул голову и холодно посмотрел на этого человека. «Когда вот-вот встретишься с творцом, веришь... Нужно верить...» Тогда откуда же у него самого этот унизительный страх? Его усталый мозг сопротивлялся слабости, сопротивлялся искушениям адовым. Но сами эти слова на мгновение показались ему напыщенными. Чуть не плача, он призвал на помощь всю свою решимость. Нельзя, чтобы люди видели, как он плачет, — в них ослабнет вера, если они увидят. А он им еще понадобится, когда японцы нажмут еще сильнее. Он поднялся на ноги. Он их будет утешать.

Они стояли, согнувшись, под окном и у стен погруженного в полумрак подвала и стреляли из пулемета — время от времени, и им отвечали — тоже время от времени. Они, казалось, совсем забыли о его присутствии. Он тяжело опустился на пол, чувствуя, как исчезает его решимость. Три дня назад, готовясь к обороне, вдоль одной из боковых стен вырыли щель. Пожалуй, будет лучше, если он останется в ней, — там его не достать и шальной пуле. В конце концов никому не будет пользы, если его убьют. Он спрыгнул в щель и насмешливо отметил, что его страх пошел на убыль. Он закрыл глаза. Почему, почему же ему было страшно? Страх нарушил привычное спокойствие души, несомненное стало не таким... ну, что ли, не таким несомненным. Но ведь он верил; он не сомневался, что верил сильнее, чем когда-либо. Ужасы, которые он видел, только доказывали существование бога, потому что никому не вынести тех ужасов, которые были у них перед глазами, если бы не бог. Он все думал и думал, стараясь укрепить эту мысль в своем сознании.

Тишина встревожила его; он понял, что пулемет на время замолк. В темноте, съежившись в комок, он ждал, когда снова начнут стрелять, чтобы он мог думать об этом и еще больше укрепляться в этой мысли...

КАПИТАН, 1926—1930

Два пьяных козлика на красном покрывале...

Все университетские годы он был членом этой творческой группы. Сюрреалистическая поэзия была в моде. Он много пил, иногда чувствовал себя очень счастливым, — ненадолго, а затем очень несчастным, но, как бы там ни было, он ощущал в себе некую целостность, чистоту, и это вполне определенное чувство наполняло его уверенностью, что он станет большим художником и будет тысячами холстов разить ложь Америки, что он пробьет красоте дорогу к миллионам людей, которые ее раньше не чувствовали, что он встряхнет людей, заклеймит их, начисто лишит самодовольства и скажет: «Пожалуйста, вот вам ваше общество в разрезе, вот вам ваша брачная мораль (на картине бизнесмен, спящий с проституткой, у которой на шее медальон с надписью «Сестра»), вот вам ваша демократия (портрет негра, больного сифилисом) и, наконец, вот вам ваша жизнь (триптих: кинематограф, клерк и бес-

5*

цветная женщина, его жена). Только... при всей своей ненависти ему приходилось заставлять себя верить, что он в отличие от других студентов, растерявших свои убеждения, находится в особом положении, которое одному ему дает возможность понимать нужды трущоб и распознавать ложь в речах политиканов.

Он пришел в этот университет, уже испытывая сомнения в существовании бога и начиная становиться скептиком, но тогда он был молод и горел энтузиазмом. Порвав с семьей, он думал заняться живописью (такая ситуация не была чем-то новым, о таких случаях он знал из книг), но отец, армейский полковник, согласился на его поступление в университет только при условии, что он, Боуэн Хиллард, параллельно поступит на подготовительные офицерские курсы и по окончании университета будет проходить службу, пока не получит звание офицера запаса. Поэтому в 1926 году он оказался в числе тех немногих студентов, кому уже на первом курсе пришлось надеть хаки с голубыми отворотами, и для него это было символом неравенства, таким же болезненным и уникальным в своем роде, как борода для официанта, который отращивает ее вопреки собственной воле.



Боуэн Хиллард, скептик, издавал университетский литературный журнал. Боуэн Хиллард, скептик, был признан лучшим художником университета. Боуэн Хиллард, скептик, поехал в Бостон пикетировать улицы в знак протеста против приговоров по делу Сакко и Ванцетти, а затем, вернувшись, написал передовицу «Читай, Америка, читай про свой позор...», за что журнал был закрыт на полгода.

Что бы он ни защищал, его защита шла не от логики, а от эмоций. Он говорил: «Безгранично в человеке только одно: его суетность», а сам любил бродить по улицам да потолкаться среди людей. Рисовал он помногу и читал уйму книг по живописи, стремясь к тому, чтобы его творчество было сознательным, программным; он стал одним из тех редких художников, которые могли вразумительно объяснить, что они хотели выразить и под впечатлением чего творили. Он говорил, что ни во что не верит, и был этим вполне доволен, потому что отсутствие всякой веры означает веру в самого себя, а в те времена он еще был на это способен. Как художник он заметно вырос; рисунок, который всегда был самым слабым местом в его творчестве, становился более четким: он и раньше обладал тонким чувством фактуры, но теперь за его холстами стояло ощущение структурности — качество, весьма редкое для университетского художника. В этот период он написал диссонирующую абстракцию, в которой краски не совпадали с рисунком, как это бывает на скверно отпечатанных комиксах в газетах, и провозгласил ее шедевром своего творчества, назвав картину «Общество, выбитое из колеи...».

Случилось так, что к последнему курсу, кроме себя самого, он стал верить еще в одного человека... Как-то на одной вечеринке он познакомился с девушкой по имени Кова. Все перепились, и кончилось тем, что ту ночь они провели вместе и, конечно, очень хорошо узнали друг друга.

— Какого цвета у тебя глаза? — спросила она и, когда он ответил, что карие, вздохнула. — А я почему-то думала, что голубые. — Затем она рассмеялась. — Впрочем, это не имеет значения...

У людей с аналитическим мышлением разделенная страсть идет на убыль, у художника распаляется. Кова стала для него абсолютом, и так как она была красивой, пылкой и умной и, следовательно, обладала такой же натурой, что и он, — натурой художника, — во многих отношениях он тоже стал для нее абсолютом. В последний год учебы в университете у них случались горестные разлады, но они считали, что причиняемые друг другу страдания не так уж и опасны: они скорее вызывались утонченностью восприятия, чем сомнениями в самих себе.

Довольно скоро между ними установилось определенное взаимопонимание, так как у Ковы, помимо Хилларда, были другие любовники. «Я не умею рисовать, — сказала она, — не умею сочинять музыку и не владею пером так, как мне бы этого хотелось. Ты должен это понять. Когда я отдаюсь мужчине и могу отдаваться ему в силу множества причин, за всем этим у меня такое чувство, что я хоть что-то делаю и умею делать это что-то лучше любой другой женщины. Я не ревную тебя к живописи, Боуэн, а ты не должен ревновать меня. Есть женщины, которые для того и созданы, чтобы иметь много мужчин».

До некоторой степени он мог это понять и к тому времени, когда они окончили университет и поженились, даже стал находить в этом смысл, так как действительно считал, что она может изменять в силу множества причин: и потому, что она увлекалась (хотя это случалось не часто), и потому, что этого требовала ситуация, и даже потому, что проявила жалость и во многих других случаях, поскольку это было необходимым этапом в установлении дружеских отношений. Но она всегда возвращалась к нему и любила еще сильнее, с бóльшей страстью, и каждый снова находил в другом свой абсолют и ценил его еще больше. Однажды она сказала ему после долгого молчания: «Мы как два пьяных козлика на красном покрывале». Вот что они несли в себе и во что верили...

СОЛДАТЫ, апрель 1942-й, день первый

Как-то познакомился я с одной бабенкой...

Невыспавшиеся и утомленные напряжением прошлой ночи, они жались в двойной линии траншей и пристально вглядывались в море. Трясясь мелкой дрожью и ощущая тяжесть в желудке, они нервно вглядывались в морскую даль между бе-

регами горловины бухты Тинде. Всю ночь они чистили оружие и готовились сами, приводя себя в порядок со скрытой обреченностью в каждом движении. Не отрывая глаз от моря, они тревожно ждали, кто первым увидит корабль. Следили за морем воспаленными глазами, чувствуя, как пересохло в глотке, проводя языком по нёбу, клацая зубами. Что-то будет, что-то будет, господи Иисусе, господи Иисусе!..

В это утро майор, под командой которого было три роты в Тинде, написал установку на предстоящий бой. И теперь им читали ее вслух:

Японцы атаковали Отей в 6.23 силами флотилии бронированных барж. Согласно донесению половина барж направилась к Тинде. Остров Аналоу окружен с этой стороны непроходимыми рифами. Единственно возможными пунктами высадки десанта являются Хансон-Бич, Отей и Тинде. Поскольку они уже подвергли атакам первые два пункта, можно не сомневаться, что сюда будет нанесен очередной удар...

— Однажды познакомился я с одной бабенкой — дело было дома, в Олбани. Она мне говорит: «Знаю я таких, как ты, приятель, здесь их тысячи». Тогда я ей говорю: «Раз уж ты, сестричка, ловко так считаешь, подойди сюда: посчитаем вместе. Может, ошиблась счетом?» — «Не смеши ты меня, — говорит. — Трепло». — «Знаешь, милая, — говорю я, — я такого никакой бабе не позволю. Одну такую я так рассмешил, что ее потом доктора отхаживали». Ну, тогда она малость попроще стала, но... до дела еще далеко... Когда же, черт бы их всех побрал, они, наконец, покажутся?!.

...Мы защищаем один остров из длинной цепочки таких же островов. Японцы не считают этот остров настолько важным, чтобы посылать сюда единицы военно-морского флота. А мы докажем им, что они ошибаются. Флотилия японских самоходных барж продвигается от острова к острову. Если мы их остановим, им придется изменить свои наступательные планы. Контроль над всей цепью островов зависит от контроля над каждым островом. Контроль над этим островом в руках тех, кто контролирует прибрежное шоссе, которое проходит вдоль северного побережья острова, соединяя Хансон-Бич, Отей и Тинде. Мы должны удерживать в своих руках город, но, что еще важнее, должны сохранить контроль над прибрежным шоссе...

— Кино такое есть, там еще Джимми Кэгни играет, кажется. Его в городе показывали — смотрел? Я-то сам видел его в Стрэнде, в Нью-Йорке. У них там джаз-банд... не помню, как он назывался, а вот певицу, которая с ними пела, до сих пор помню. Да, так кино это про войну, только во Франции. Тогда, известное дело, не воевали на маленьких островах. Ну, и малый, которого Джимми Кэгни играет, в штаны наклал. Я, как увидел, чуть в кресле не подпрыгнул. Ведь какой он лихой малый, этот Джимми Кэгни! А потом подумал: «Любой может в штаны накласть, когда такое начинается». Как ты думаешь, сколько сейчас времени?.. Понравилось мне очень это кино. Забыть его не могу...

...Если нас выбьют из траншей, мы должны не пропустить японцев к прибрежному шоссе, которое находится в двух милях от города. К шоссе ведут две улицы, и два дома, прикрывающих оба пути, мы превратили в крепости. Дом на левом фланге — старое каменное банковское здание, с трех сторон окруженное болотом, и поэтому подступ к нему возможен лишь с одной стороны — со стороны города. Если вам каким-либо образом придется оставить траншеи, вы должны добраться до одного из этих домов — это жизненно важно...

Они медленно трамбуют землю прикладами и, нервозно докуривая сигареты до самых ногтей, ждут, ждут атаки...

— Признаться, я еще ни разу не видел боя. Он легонько пристукнул каблуками, чтобы стряхнуть налипший комочек глины.

— Лучше что угодно, чем так стоять и ждать. Потрогал пуговицы, поправил берет так, потом этак.

— Эти сигареты хороши на вкус. Знаешь, как это бывает, — куришь разные, без разбора, и все они одинаковые, а потом вдруг попадутся такие, просто самый смак... Ну, как тебе это объяснить — не знаю.

...Сейчас апрель, прошло только четыре месяца с начала войны, и все вы знаете, что у нас не хватает снаряжения, нет танков, нет самолетов. Укрепления на острове всего лишь недельной давности. И однако, японцы попытаются высадить десант, и на нас возлагаются все надежды. Вам предстоит сражаться за свою страну, самую великую в мире. Желаю удачи.

— Куда же ты, черт тебя побери, суешь своим ружьем? Мне прямо в лицо. Убери приклад.

— Не кипятись, приятель, не кипятись.

— Ну, знаешь, мне мое лицо нравится. Вовсе не хочу, чтобы его разворотили. Еще пригодится: дома девочки не перевелись.

— Я же сказал тебе «извини», так какого черта ты прешь на меня?

— Вот что, приятель, я тебе не Джо Крап. Выбирай слова получше!

— А, прибереги свои угрозы для японцев.

— Так где же они, когда же, черт возьми, они появятся? Проклятые желтые твари, боитесь, что ли?

КАПИТАН, 1931—1936

Что-нибудь успокаивающее и одновременно радостное

Тот год, когда Боуэн Хиллард женился на Кове Рейнольдс, был годом похода безработных на Вашингтон. Дела у Боуэна шли неважно. Как художник он продолжал расти, его работы становились еще выразительнее и достигли весьма высокого уровня по мастерству исполнения, но в тот год живопись плохо продавалась. Несколько картин купили их друзья, но у друзей тоже не было денег, и Боуэн, который терпеть не мог торговаться, оценил свои картины так дешево, что друзья, покупая их, говорили: «Чертовски сожалею, Боуэн», — а он только рычал в ответ: «Ничего, прах тебя дери, ничего». Кова получала небольшую помощь от родителей, и к этому добавлялся ее заработок — она устроилась продавщицей на двенадцать долларов в неделю, но сам он не поддерживал отношений со своей семьей еще с университетских времен, и денег им не хватало.

Убедившись, и притом довольно скоро, что страна и не думает обращать внимание на его творчество и что ему некого «встряхивать», он начал ожесточаться. Время от времени он шел на компромисс

и рисовал картинки для каминных полочек, но и они плохо продавались. Повсюду закрывались картинные галереи. Однажды какой-то делец согласился устроить двухнедельную выставку его работ...

Три дня они с Ковой — к этому времени она потеряла работу — сидели в пустом зале и почти не разговаривали, пока к ним не заглянули друзья. Тогда они сорвались со своих мест и разразились потоками слов, то язвительно, то восторженно отзываясь о различных художниках и понося Мунка, Бекмана и Марэ, а затем сникли. Мистер Лестлер, устроитель выставки, уже три часа как ушел на обеденный перерыв и не возвращался. Всем было ясно, что выставка провалилась.

Хиллард окинул взглядом свои четырнадцать холстов, посмотрел на серый ковер на полу и что-то пробормотал насчет плохого освещения.

— Оно их убивает, — проговорил он медленно, — убивает, поверьте мне.

Кова кружила вокруг. Затем она повернулась к его друзьям и сказала:

— Я всегда мало что смыслила в живописи, но они действительно хороши, верно?

— Кова! — сердито одернул ее Боуэн.

Он следил за тем, как она шла к нему, стараясь подчеркнуть все достоинства своего платья. «Очень подходит к этому ковру», — подумал он.

— Прости, Боуэн, — сказала она.

Он уже взял себя в руки.

— Ничего, Кова, пустяки, — сказал он. — И ты меня тоже прости.

Друзья ушли. «Наверное, скоро придет другая компания», — подумал он. Воздух в помещении был слишком сухим. «Они действительно хороши», — прошептал он в отчаянии. Затем он подумал об их с Ковой двухкомнатной квартире. Если бы ему позволили сделать что-нибудь с этими стенами, — вздохнул он. — Например, фреску «Художник, выбитый из колеи».

Затем произошло нечто ужасное. В галерею пришла женщина, которая собиралась купить какую-нибудь картину. Темноволосая, слишком располневшая в свои сорок с чем-то лет. Ей понадобилась картина для детской.

— Что-нибудь успокаивающее и одновременно радостное.

Сколько он слышал подобных анекдотов от художников — затасканных и уже не смешных анекдотов! Некоторое время она смотрела по сторонам.

— Вот, пожалуй, эту, — сказала она.

Это был эксперимент над «барбизонским пейзажем». Запомнившийся ему луг, похожий на Коро, только много хуже, и вдобавок слишком красочный, слишком зеленый и слишком орнаментальный, как будто у бродивших по полю коричневых коров бока были пурпурными только для того, чтобы вместить всю цветовую гамму.

— Как называется картина? — спросила она.

— «Потаскуха в зеленом неглиже», — ответил он.

Кова смотрела на него с ужасом, в ее глазах негодовала сама бедность. Женщина оправилась от шока.

— Пожалуй, мне придется назвать ее иначе, — сказала она.

Он обуздал свою ярость.

— Конечно, как вам будет угодно.

Потом она начала торговаться, доведя, как ему казалось, щекотливость отношений между художником и клиентом до предела дурновкусия и бестактности. Она получила картину за тридцать пять долларов. На эти деньги они прожили две недели. После этого случая, если не удавалось продать картину сразу, он отдавал ее кому придется: мальчику, стригущему газон, владельцу магазина или рабочему, копавшему траншею. (Однажды он сказал: «В гастрономических заведениях у меня больше картин, чем у любого модного художника».)

Четыре года он держался, подрабатывая на заказах УПР[1], но они с Ковой что-то утратили. Люди больше не считали их умными и талантливыми, мужчины перестали столь настойчиво добиваться любви

[1] УПР — Управление промышленно-строительных работ общественного назначения — одно из учреждений времен «нового курса» Рузвельта. *Прим. пер.*



Ковы. А для него она была последним оплотом. Снова и снова в эти трудные годы она возвращалась к нему, и почти всякий раз их сближение представлялось им последней встречей. Но они слишком зависели друг от друга, пытаясь взять все от своей любви, и ни во что другое не могли верить.

Однажды, когда его депрессия затянулась на несколько месяцев, он принялся писать автобиографию. Книга получалась очень расплывчатой, но поскольку он время от времени что-нибудь туда добавлял, она вобрала в себя всю горечь его раздумий. Он писал: «Мальро говорит, что во всем, ради чего люди готовы пожертвовать жизнью, есть тенденция оправдывать их гибель необходимостью, которая выводится из чувства человеческого достоинства. Возможно, что в других странах это так. Но в Америке люди живут, работают и умирают без малейшего намека на сознание человеческого достоинства. А находясь при смерти... тогда они хотят знать, каковы их шансы на небо, и, по-видимому, делают на него последнюю отчаянную ставку, прилагая к ней моральный счет за добродетельные поступки, с тем чтобы, если лихая лошадка под кличкой «Небеса» победой в заезде докажет свое существование, они могли бы получить выигрыш в тот же вечер...» Там было очень много подобных мыслей, но в глубине души он чувствовал, что начинает сдавать свои позиции.

В конце концов он капитулировал. Несколько поколений семьи Ковы были архитекторами, и в 1936 году он забросил живопись и поступил к ним на службу чертежником. Через год, заодно подучившись, он стал архитектором средней руки. Теперь они жили гораздо лучше (они могли позволить себе жить в Вилледже), но у него пропало всякое желание рисовать... Чтобы как-то это скомпенсировать, он упорно работал над своей книгой...

ДАЛЮЧЧИ, апрель 1942-й, день первый, второй и третий

Это дешево... дешево...

С той минуты, как в просвете выхода из гавани появились корабли, Далюччи и сам не знал, что он делал эти два дня. Хотя отрывочно он помнил, как они приближались и приближались и как ему хотелось, чтобы где-нибудь рядом оказалась пушка, хоть какое-нибудь полевое орудие, — тогда бы их можно было не подпустить, — но они приближались и приближались.

Завязался бой между двумя японскими и одним американским самолетом, и они носились по всему небу, то удаляясь в море, то возвращаясь. Когда они принимались поливать свинцом их участок берега с траншеями, он вместе с остальными, как заведенный, нырял на дно траншеи, вскакивал на ноги и снова нырял, точно он был чертовым «джеком-попрыгунчиком» или чем-то вроде этого; они действовали так — он был готов поклясться, — словно первым делом хотели добраться до него. Если бы можно было отстреливаться! Но японские корабли, хотя он прекрасно видел, как они подходили ближе и ближе, были еще слишком далеко.

Его сержант, индеец, склонился над своим пулеметом и ждал их, что-то насвистывая и прицеливаясь то так, то этак, а затем дал короткую очередь — совсем коротенькое «тра-та-та», — чтобы проверить, как пулемет работает, но Далюччи было ясно только то, что его вот-вот может вырвать.



Он не выпускал из рук свой «гаранд», но не знал, что с ним делать. Потом, не выдержав, он припал к прикладу и начал стрелять, пока кто-то не стянул его вниз. И лишь когда японцы стали причаливать, по обе стороны от него застучали пулеметы и поднялся такой треск, что у него чуть не полопались уши; он по-прежнему ничего не понимал и только разряжал и снова заряжал свое ружье, стреляя не целясь. Подняв глаза, он увидел, что японцы, хотя их баржи подходили к берегу одновременно, успели одну из посудин вытащить на берег. Прежде чем попытаться пойти в атаку, они открыли стрельбу из миномета, стоявшего на борту баржи, но тут по обе стороны от него снова дружно ударили пулеметы, и разом защелкали все ружья, какие были в траншеях, так что от посудины полетели щепки, и даже откуда-то заухали два американских миномета. Прямо тебе Четвертое июля, если бы не столько дыму.

Только тем временем японцы подвели к берегу еще пару посудин и начали шпарить из пулеметов, установленных на носу баржи. На секунду он спрятался — от страха, — а когда выглянул снова и начал стрелять, на берегу уже были четыре посудины, и с каждой безостановочно строчили пулеметы, да и минометы не отставали, — он услышал свист, кто-то рывком сдернул его на дно траншеи, а тот малый, что стоял рядом, дико взвыл и, схватившись за лицо, повалился навзничь. В первую секунду он принял его кровь за свою, потому что был заляпан ею с ног до головы, но тут же сообразил, что стоит и нигде не чувствует боли. А малый хватал его за ноги и таращил глаза. У него не хватало духу взглянуть на его лицо: столько крови, да еще этот жуткий грохот!

— Да что же это, — забормотал он, — что ж это такое, что ж это такое?!

Но тут за дело принялся еще один миномет и заставил его опять нырнуть на дно траншеи.

В Терре-Хоте, в той части города, где жила такая же беднота, возле домов на тротуарах были угольные бункеры с большими металлическими крышками — вроде тех, что на канализационных люках. Когда приезжали грузовики с углем, жильцы домов отваливали крышки и засыпали в бункер столько угля, сколько заказывали. А крышки нужны были для того, чтобы уголь не подмок.

Сначала, когда они еще только переехали туда жить, у них не было крышки для бункера. За несколько лет до их приезда одна из крышек разбилась, и с той поры, как только выезжала какая-нибудь семья, освободившаяся крышка перекочевывала к тем, кто до того дня был вынужден обходиться без нее.

Тогда он был еще слишком мал, чтобы это знать, но самым первым, что он помнил в своей жизни, бы-

ло то, как выехали соседи и как их семья, наконец, получила крышку. Все в доме были счастливы и, показывая ему на нее, говорили снова и снова: «Вот, Тони, смотри, видишь — это крышка», а он был слишком мал и ничего не мог понять. Не зная почему, он ударил по крышке рукой и заплакал. Когда взрослые стали смеяться, с ним случился припадок, и мама, чтобы успокоить его, дала ему немного вина.

Так оно и шло первые два дня. Японцы продолжали нести потери, но наседали, и на том участке, где они вытащили на берег четыре свои посудины, причиняли массу хлопот. Все занимались только этими японцами (до них было трудно добраться, потому что все они, кроме пулеметчика, прятались за стальной обшивкой баржи), а пока они ими занимались, на другом фланге высадились еще две шлюпки, и, забросав циновками колючую проволоку, японцы ворвались в первую линию траншей и устроили ад кромешный. Стрелять из минометов было поздно — там уже шла рукопашная, и, когда из других траншей первой линии туда бросили половину людей, японцы, прятавшиеся за четырьмя посудинами, рванулись вперед и захватили почти сотню ярдов передней линии. Оттуда они открыли такой огонь, что Далуччи минут пять не высовывался. А тем временем позади захваченных участков высадились все или почти все остальные японцы. Весь остаток дня японцы бились в первой линии, а вечером он услышал, как один малый сказал, что они уже контролируют всю линию. После этого он не мог высунуть головы, не рискуя тут же без нее остаться. Между двумя линиями траншей, расположенными не более чем в семнадцати ярдах друг от друга, шла яростная перестрелка. В эти два дня он забегал в блиндаж поспать, но не успевал сомкнуть глаз, как его гнали обратно, и, давясь плиткой шоколада, он стоял, пригнувшись в траншее, и не знал, что ему делать: он боялся высунуться и прицелиться из своего ружья, но еще больше боялся сержанта, который, захлебываясь, вопил, чтобы он встал во весь рост и стрелял. Так что время от времени ему приходилось высовываться, и, зажмурив глаза, он делал подряд три-четыре выстрела — быстро, как только мог, а затем пригибался. Он не успевал кого-нибудь разглядеть настолько, чтобы можно было прицелиться, как учили на стрельбищах. Те три самолета, которые носились над ними, когда все еще только начиналось, должно быть, уже давно рассыпались на кусочки, но время от времени появлялся американский или японский самолет и строчил по траншеям, пока навстречу ему не вылетал другой, и тогда они вместе петляли по всему небу, то загоняя друг друга в море, то теряясь над джунглями на дальней стороне острова. Говорили, что один японский самолет упал в болото, но сам он этого не видел.

За два дня обе стороны как будто выдохлись, и наутро третьего дня наступило затишье. Пришел лейтенант и сказал, что половина людей может идти спать. В их число сержант назначил и его: от него, мол, все равно никакой пользы и, чем здесь мешаться, пусть уж лучше идет спать. Ему это вовсе не понравилось, но он прикинул, что было бы совсем не худо отдохнуть от этого адского грохота и жары.

Но когда он забрался в блиндаж, оказалось, что его не отпускает напряжение. Немного поворочавшись, он лег на живот и будто немного расслабился, но тут же почувствовал, как его начинает душить злость, и, сам не зная почему, он забормотал: «Это дешево... дешево...» Он думал о доме в Терре-Хоте и о своей работе и становился еще злее. У него перед глазами стояло крылечко, все подпорки которого, или почти все, повыдергали при драках за те годы, пока он там жил, а что осталось, пришло в негодность от дождей и ветров. И хотя временами доносились выстрелы, он так разволновался, что ничего не слышал, и все думал о своем старике, об этом жирном... и он начал проклинать его, всхлипывая между словами, которые вырывались у него из глотки. Он вспоминал, как этот старик сидел на крылечке дома с таким видом, словно он не чета кому-либо в Терре-Хоте, даже не пьяный, черт бы его побрал, сидел там, нахохлившись после работы... после ежедневной двенадцатичасовой работы, прорубив за свою жизнь штрек на всю длину узкоколейки, получая шестнадцать долларов в неделю... сидел на крылечке в рубашке с длинными рукавами и читал газету... поскорее добирался до спортивной страницы и медленно читал, перебрасываясь словечками с приятелями, подбрасывая затасканные загадки детям, а то вдруг ущипнет мамочку с этаким «ха-хо-ха!», ни разу в жизни даже не сыграл с приятелями в карты, и разговаривал об Италии... Будь ты проклят, старик, будь ты проклят!..



В десяти-пятнадцати ярдах грохнула мина. По ступенькам блиндажа посыпались струйки земли, и сквозь грохот он услышал прерывистый вопль, который постепенно перешел на скулеж и затих... точно так же выла собака, попавшая под машину у него на глазах. Он подумал, что клочья этого малого, может быть, смешались с землей,

сыпавшейся по ступенькам, и почувствовал, как у него что-то оборвалось в животе.

Он сел и сидел на нарах, обливаясь потом, и несколько минут не мог перевести дыхание. Он закурил сигарету и после двух затяжек почувствовал, как к нему возвращается дикая злоба, только на этот раз он зарыдал. Малый, который лежал на соседних нарах напротив него, тоже сел.

— Успокойся, дружище. Дай-ка и мне сигарету.

— Захлопнись, ты, проклятая скотина! — завопил он и швырнул ему пачку. Чувствуя тошноту, он думал о своих паршивых работах, сперва о том, как чистил ботинки, нюхая вонючие ноги, нюхая запах гуталина, — он до сих пор помнит этот запах, и от одного воспоминания даже сейчас его может вырвать, — и как над ним смеялись в школе, потому что от него самого несло этим запахом. (Он приставил ладонь к носу и машинально обнюхал пальцы.) Он становился старше, и работы менялись одна за другой: работал посудомоем, хватал тарелки, поигрывая кончиками пальцев — до того тарелки были горячими, когда выскакивали из моющей машины, — и, собрав двухфутовую стопку, несся с нею куда-то... работал на бензоколонке — сначала за тринадцать долларов в неделю, а потом, когда проработал там два года, за пятнадцать... Мэри плакала у него на груди в парке: «Почему бы нам не пожениться?» Он рассвирепел: «Катись к черту, я и один проживу! Да и что в тебе такого есть, чего бы я не получил от других? Полтора доллара». На углу вечно слонялись парни — у них и таких денег не было, разве что иногда хватало в бильярд сыграть. «Так вот я вам, чертям, скажу: профессию иметь надо, тогда и деньги будут. Посмотри на меня, своего старого отца, вот что я тебе скажу». «Тони, христа ради прошу, когда же ты починишь перила?..»

Он снова сел, у него кружилась голова.

— За каким чертом? — негромко сказал он сам себе. — За каким чертом все это нужно?.. — на этот раз совсем тихо.

Какой-то солдат заглянул в блиндаж.

— Живо, ребята! Они опять начали. Поднимайтесь!

В каком-то оцепенении он потянулся за каской, пристегнул ранец, схватил ружье и, шатаясь, пошел вверх по ступенькам, в небо, такое же, как Четвертого июля, только чернее. Японцы наседали — это было слышно, а затем ему стало кое-что и видно. Они действовали точно так же, как когда высаживались: сперва принялись за один участок траншеи, затем, когда там сосредоточился весь огонь, пошли в атаку на другом участке и атаковали, пока оборона не начала сдавать. В конце концов они ворвались в траншею и, вытянув на себя подкрепление с первого участка, обрушились всеми силами на оголенную траншею.

Его взвод получил приказ двинуться по траншее к месту прорыва, но не успели они пройти и половину пути, как японцы рванулись к тому участку, где они только что были. За секунду до этого у него все еще кружилась голова, и он яростно спрашивал самого себя: «За каким чертом я здесь оказался? Зачем? Зачем?» и, пока японцы рвались к траншее, визгливо выкрикивал: «Это дешево, дешево...» Должно быть, в этот момент в нем что-то изменилось, потому что, когда японцы начали сыпаться в траншею не дальше чем в сорока ярдах от него, он вдруг почувствовал, что ему плевать на сержанта и вообще на все на свете, и, выскочив из траншеи, что было сил пустился бежать к городу. И уже очень скоро ему стало казаться, что вместе с ним бежит вся эта проклятая армия...

КАПИТАН, 1936—1941

Не знаю, Боуэн, мы сгнили.

Ни во что не верить перестало для него быть источником утешения. В кабинете архитектора время шло медленно. Когда-то он доказывал, что анализировать соотношение линий без учета фактуры — жеманство, во всяком случае, для художника, а теперь он рисовал линию к линии и наносил фактуру, где это требовалось, только вместо того, чтобы, как прежде, писать маслом цементные плиты или водонепроницаемый бетон, условным обозначением изображал поперечное сечение. У всех, кто трудился в чертежной, рукава были перехвачены тесьмой; согнувшись и втянув головы в плечи, чертежники стояли перед длинными столами и работали. Некоторые были в гетрах. Он решил, что по этому поводу стоит сделать обобщение, и сказал: «Чертежникам для полноты счастья необходимы гетры», но так как люди, которым он это сказал, никогда не работали и не бывали в чертежной, они не сочли его замечание особенно глубокомысленным.

Просыпаясь по утрам, он строил гримасы. Большую часть рабочего дня ему предстояло транскрибировать одни символы в другие, но ведь не он их придумал. «День самососредоточения», — говорил он Кове, но это редко вызывало у нее улыбку. Он понимал, что Кова была к нему в претензии: она считала, что он продается. Но помня о том, что именно она хотела, чтобы он взялся за эту работу, и сама договорилась о ней со своей семьей, он злился и чувствовал обиду. Однако со временем он понял Кову: она тогда считала, что им, в их затруднительном положении, необходимо иметь возможность воспользоваться этой работой только для того, чтобы отвергнуть соблазн и вновь увериться друг в друге. Она уговаривала его поступить на эту работу, потому что видела в ней своего рода противовес; надо было все это учитывать, когда он принимал решение. Ей было нужно, чтобы он сказал: «Мы выстоим, продержимся за счет заказов УПР, я не стану продаваться», что означало бы не то, что она не устала жить без денег, она устала, а то — он понял это слишком поздно, — что именно искусство держало вместе этих двух пьяных козликов на красном покрывале.

Как-то вечером они пили в баре вместе с одним из своих друзей, с Генри, судьба которого имела немало сходных черт с судьбой Боуэна Хилларда. Они спокойно потягивали коктейли, пока Генри, нарушив молчание, не стал декламировать снова и снова: «Мы — люди, влекомые смертью, мы — люди, влекомые смертью».

— Заткнись, — сказала ему Кова. Но он продолжал:

— Мы люди, влекомые смертью... Похоже на Элиота, верно, Боуэн?

Тогда Кова выкинула нечто неожиданное: она перегнулась через стол и с треском влепила Генри пощечину.

— Кова, оставь его! — закричал он, и тут все они вспомнили, где находятся. Кова на секунду задержала на нем свой взгляд и зарыдала. — Пойдем, нам нужно идти, — сказал он. — А то я завтра не встану вовремя и опоздаю на службу. Мне предстоит расставить пятнадцать сортирчиков на

третьем этаже жилого дома, который сейчас проектируем.

Генри захохотал.

— Похоже на Элиота, а, Кова? «Художник на «синьке» рисует пятнадцать сортиров».

В этот момент он уже стоял на ногах.

— Будет, Кова, будет тебе, пойдем... Я больше не художник, Генри. Нельзя рисовать, когда сам уже мертв, верно? — У него дрогнул голос.

Генри взглянул на него и сказал:

— Прости меня.

— А, забудем это.

— Нет, нет, я сказал «прости»... Будем это помнить.

После этого Кова уходила к другим потому, что ее муж уже ничего не мог ей дать. А он, сознавая это, еще упорнее трудился над проектами краснокирпичного жилого дома, или находил себе случайных любовниц, или даже пытался рисовать, чувствуя, как в нем закипает ярость по мере того, как холст покрывался краской, пока то, что он хотел сделать, не разрушалось тем, что он сделал, и тогда уничтожал холст.

Их отношения приближались к той точке, где предстояло сделать последний крутой поворот, чтобы навеки потерять друг друга. Уже несколько раз, казалось, все было кончено, но всякий раз, боясь сделать этот шаг от сенсуализма к безвозвратному цинизму, они останавливались на полпути и сходились снова. И однажды произошло необъяснимое: к ним вернулось что-то из прежней уверенности. Однако это не могло затянуться надолго. Их больше ничто не связывало. Как-то вечером, испытывая неловкость, он пришел домой слишком рано. И несмотря на боль, что-то в этой ситуации напомнило ему о пошлости той темноволосой женщины, которая однажды пришла на выставку его картин. Когда они остались вдвоем, он попытался заговорить.

— Что с тобой, Кова? — спросил он.

— Иди-ка ты к черту, Боуэн. Я больше не желаю делиться нашими общими бедами.

Он закурил сигарету. Нужно было хоть как-то спасти положение.

— Ты себя неважно чувствуешь, да, Кова?

— Не знаю, Боуэн, все мы сгнили.

Сколько раз он спрашивал себя, не случилось ли это с ним.

— Людям вроде нас нельзя позволять себе пользоваться ярлыками.

— Послушай, Боуэн, я их не боюсь, я не возражаю против этих слов. Хорошо, я не творческая натура, я сука. Стало быть, так оно и есть. Пусть я сука.

Он уронил пепел на брюки и машинально растер его пальцем.

— Я не это хотел сказать, Кова. Я еще не считаю, что мы сгнили. Может, нас просто слегка выбило из седла, может, два человека в конце концов не могут не иссушить друг друга.

Она раздраженно пыталась сбросить туфлю, которая никак не хотела сниматься.

— Это уже давно висело в воздухе, Боуэн.

Он медленно встал.

— А если я брошу работу?

— Уверена, что мы будем жить еще бесцельнее...

Сразу после этого он сделал очень многое: бросил работу, переехал жить к Генри (это было символично, и к тому же не надо было платить за квартиру) и закончил свою книгу, которую он во время одного из рецидивов ярости озаглавил «Художник на пути к позору». Это была гневная книга. Выпущенная погрязшим в долгах либеральным издательством, книга не принесла ему много денег и лишь послужила лакомым куском для дюжины критиков из респектабельных газет. Он было подумал о том, чтобы вернуться к живописи, но начинать все сначала показалось ему скверной шуткой. Год он прожил, кочуя с одной работы на другую.

Теперь, когда у него было много времени, он попытался переоценить свою жизнь. Он чувствовал, что где-то на своем пути сделал не тот поворот, или, скорее, пропустил нужный указатель на дороге, и теперь стоит, вместо того чтобы двигаться дальше. Ему казалось, что в университете он был талантливым, умным и даже искренним, по крайней мере в тех пределах, которые он установил сам. И ему казалось, что и Кова была такой. Они были единомышленниками и все же расстались, потому что они, ни во что не веря, должны были слишком многого ожидать друг от друга. Если бы они верили во что-нибудь, кроме самих себя, все было бы хорошо, но то, что им говорили за первые двадцать лет их жизни, на поверку оказалось ложью. Форма не совпадала с содержанием. Не имея впереди никакой цели, они пытались построить жизнь, опираясь на художественный вкус.

Ему казалось, что его жизнь можно сравнить с дружеской ссорой по поводу платы за обед, когда по какой-то причине оба хотят расплатиться: пытаясь в шутку надуть друг друга, друзья выхватывают из рук чек, пока, наконец, не порвут его. Как два грузовика, одновременно въехавшие на одноколейный участок дороги. На каждом дюйме пути они могли бы уступить друг другу, но если бы ставки не были столь высоки, то не случилось бы и самого столкновения.

Поскольку он в своей жизни не верил ни во что, кроме самого себя, он не считал никакие ставки достаточно высокими, чтобы ради них рисковать катастрофическим столкновением. К тому времени, когда они с Ковой окончательно порвали, они оба так этим прониклись, что даже тогда ему не приходила в голову мысль о полном крушении. Ему казалось, что он слишком забрал в сторону от прямой дороги и что этим можно объяснить отсутствие смысла в его существовании.

В начале 1941 года он написал отцу, что хотел бы воспользоваться своим званием резервиста и поступить на армейскую службу. Через полгода, после переподготовки, он с учетом его возраста был произведен в капитаны. Он считал, что Соединенные Штаты уже в самом скором времени вступят в войну и что он именно поэтому пошел в армию. Он говорил себе, что не сомневается в неизбежности войны и что он сделал личную ставку.

Он пошел в армию, потому что, подведя итоги прожитому, пришел к заключению, что сможет оправдать свою жизнь и найти в ней смысл только перед лицом смерти. Он вспомнил, как Мальро находил оправдание жизни в осознании чувства человеческого достоинства. Ему, возможно, необходимо умереть, чтобы обрести это достоинство. Конечно, думал он, жизнь на войне, в условиях смерти, выявляет самую суть человеческого «я» и там он не найдет лжи. Он решил, что ему пора схватить этот счет, даже если он может порваться в его руках. Он перебросил мост от сенсуализма к мистицизму, затем предпочел цинизм. Но теперь он хотел знать, каково себя чувствовать под пулями...

Окончание следует

Перевел с английского В. ТЕЛЬНИКОВ

Я — МАСАИ!

ЖАН-ПЬЕР АЛЛЕ

Первого масаи я увидел на окраине деревни. Фигура его, закутанная в широкую свободную накидку, врезалась в темнеющее уже небо. Когда я подошел вплотную, то увидел, что все тело юноши покрыто смесью рыжей охры и бараньего жира; стороннему глазу он показался бы жителем иной планеты. Но только до первого знакомства. Видимо, парень знал меня или ему рассказали, что я врачую в соседней округе. Он улыбнулся, приветливо коснулся моего плеча. Два дольца, продетые в мочку уха, звякнули при этом.

Мы вошли в деревню. Я чувствовал себя важной персоной, ибо шел в сопровождении вооруженного эскорта: у моего спутника с широкого пояса свисал нож в красных кожаных ножнах, в руках он нес копье.

Мы подошли к дому, где перед входом толпилось довольно много людей — старики были в накидках из груботканой шерсти, на ногах энкамюды — сандалии из невыделанных кож. Старики тоже улыбнулись мне. У большинства взрослых этого племени не хватало центрального резца в нижней челюсти (масаи «для красоты» сами извлекают его ножом). У всех женщин были гладко выбриты головы. Я обратил внимание на фигуры женщин — изумительной гибкости и пропорций, с длинными шеями Нефертити, в багряных и оранжевых тогах, сколотых на плече. На руках и лодыжках позвякивали закрученные в спирали браслеты.

Из хижины вышел средних лет человек.

— Меня зовут Масака, — сказал он на суахили. — Я могу тебе чем-нибудь помочь?

Я объяснил, что приехал к ним, чтобы стать масаи, воином-масаи, а для этого — сразиться в единоборстве со львом.

Масака улыбнулся, но дипломатично не стал мне возражать.

— Тебе потребуется для начала повар, — сказал он.

— Нет, нет. Я буду питаться так же, как вы.

— Но воин масаи должен есть лишь три вещи: молоко, теплую кровь и мясо.

— Что ж, я перейду на это меню.

— Я не видел еще, чтобы белый пил кровь животного.

— Если ты взрежешь сейчас вену коровы, я докажу тебе, что это не так.

— Мы это делаем утром. Подожди до рассвета.

— Аше. Спасибо.

Масака улыбнулся мне — улыбка у него была ослепительно красивая, несмотря на отсутствие зуба. В знак расположения он дал мне мех с молоком — густым, цвета слоновой кости, со слегка кислым привкусом.

Мы говорили о разном. Я расспрашивал его, действительно ли сохранились древние богатырские традиции мужчин масаи, о которых я столько читал и слышал.

— В нашем племени высшей воинской доблестью считается единоборство со львом. Мы идем на зве-



Как знак высшей доблести — победы в единоборстве со львом — голову масаи венчает убор со львиным хвостом.

ря, если тот убивает наших буйволов, таскает баранов или пугает людей. Такой лев — враг.

Масаи сходится со львом один на один; в одной руке у воина щит, в другой копье. На поясе висит нож в красных ножнах, какой я уже видел у юноши.

Человек сходился со зверем не век и не два. Очень часто лев побеждал. Однако по крайней мере в одном случае из трех человек убивал зверя и становился героем до конца своих дней. Его голову венчали хвостом царя зверей, и весь народ масаи оказывал ему почести.

Я был уверен, что ничего более захватывающего, чем такой поединок, представить себе нельзя. Охота в наш век во многом потеряла свой смысл, ибо из нее исчез риск — тот, что возвышает человека, носителя духа, над зверем.

— Эмпижан и овлуаза, — сказал мне Масака.

«Мужество и гордость», — перевел я про себя.

— Масака, — твердо произнес я. — Я хочу убить льва копьем.

— Что? Бвана, ты шутишь.

— Ничуть. Если воины научат меня владеть как следует копьем, я побью льва.

— Но может случиться, что ты проиграешь, — осторожно намекнул Масака.

— Риск я беру на себя.

— Несчастье падет тогда на мою деревню. Нас повезут в тюрьму, если мы дадим убить белого человека.

— Масака, ты дашь льву съесть меня, а гиены доделают остальное.

Наутро я проглотил — даже с удовольствием — полчашки крови, и мы отправились в саванну, где, скрытая слоновой травой, раскинулась маньята. Это нечто вроде поселка воинов, где они тренируются, посвящаются в мужчины, набираются мудрости. Сравнить ее можно, пожалуй, со школой гладиаторов в Риме.

Правда, по виду она мало отличалась от того поселка, где я был накануне. Разве что обитали здесь одни мужчины. Их возраст? От тринадцати до тридцати лет. Никто из воинов не расставался с копьем, острия блестели на солнце. Они с любопытством поглядывали на меня, но правила вежливости не позволяли им подойти и заговорить, не будучи представленными.

— Скажи им, Масака, зачем я приехал. Скажи им про льва.

— Что ты, бвана! Разве можно так, сразу? Надо их подготовить, объяснить. Не то они примут тебя за безумца. Да и меня тоже.

Я провел остаток дня в маньяте, наблюдая, как тренируются воины, отрабатывая удары копьем и ножом.

Следующим утром я вновь получил свою чашку крови и, скосив глаза, увидел, что воины масаи не в силах скрыть удивление. Один из них что-то спросил у Масаки. Тот ответил.

— Что ты сказал? — осведомился я.

— Он хотел знать, почему ты не питаешься, как все белые. Я ответил, что ты хочешь жить как масаи и даже научиться владеть копьем.

— Ты сказал ему про льва?

— Нет еще.

— Скажи. Скажи сейчас.

Масака принял особо достойную позу и произнес речь примерно на полчаса, время от времени подкрепляя ее жестами, показывая на меня, на себя и на небо — видимо призывая его в свидетели. В конце спича я уловил два слова на местном диалекте: «арем» — копье и «олнгатунги» — лев.

Воины отреагировали самым неожиданным образом: они засмеялись. Высокий человек с резко очерченным лицом и глубокими шрамами на животе бросил какую-то реплику, явно саркастическую, ибо смех усилился.

— Кто этот человек, Масака? Что он говорит?

— Его зовут Коноко. Он сказал, что тебе лучше зарядить ружье. Это единственный способ для белого убить льва. А его все слушают, потому что в этой маньяте он единственный, кто победил льва.

Я подошел к воину со шрамами и сказал, глядя ему прямо в глаза:

— Ты видишь, я одного роста с тобой, мои мускулы такие же крепкие. Я буду сражаться со львом в одиночку так же, как ты, — с одним щитом из буйвольей шкуры и копьем.

Масака перевел это, и юноши застыли в молчании. Потом выступил Коноко, и Масака перевел уже для меня:

— Ты молод и силен, бвана, но ты не масаи. Он боится, что ты не сможешь сделать того, что хочешь, но он может проверить тебя. Еще он предлагает научить тебя метать копье.

В последующие три недели мы с Коноко стали чуть ли не братьями. Во время наших разговоров Масака всегда усаживался рядом на корточки, переводя и добавляя от себя комментарии.

— Коноко говорит, что он никогда еще не встречал такого высокого белого, такого же высокого, как копье. Теперь он будет тебя звать Арем — копье.

Я старался изо всех сил заслужить это звание. Должно быть, я метал подаренное мне копье не менее двух тысяч раз, держа при этом в левой руке щит весом в добрых десять килограммов. Мишенью мне служила жердь диаметром сантиметров в десять, на конце которой Коноко привязал символический пучок травы: она должна была изображать льва.

Если я промахивался, оружие с разлета вонзалось в землю. В «зачет» шло лишь попадание в жердь. А это, поверьте, было трудно, особенно если учесть, что цель все время двигалась, подобно нападающему льву.

Лишь на двадцатый-тридцатый раз я навострился пронзать пучок травы, изображавший «ол-тан», львиное сердце. Через две недели ежедневных тренировок я уже поражал грозный символ — мишень девять раз из десяти с расстояния в два с половиной метра. С этой дистанции я бросал копье почти так же хорошо, как Коноко. Но уже с пяти метров меня упорно заносило вправо.

Смысл ясен — чем ближе я буду ко льву, тем больше шансов у меня. Однако лишняя секунда, даже доля секунды на такой дистанции может погубить меня. Это как раз то, что чуть не случилось с моим братом по оружию Коноко: жуткие рубцы на животе и на шее красноречиво свидетельствовали об этом.

— Если лев убьет тебя, — сказал мне Масака, — мы не дадим ему сожрать тебя.

— Спасибо, Масака. Но я как следует подготовился и владею копьем, как масаи. Я думаю, что смогу справиться со львом. Я готов.

Всего нас пошло на охоту девятнадцать воинов, включая Коноко и Масаку. Число это в глазах масаи имеет особенное значение, ибо включает цифру девять, магическую для них.

Я оглядываю себя, свою выцветшую рубашку цвета хаки и чувствую, что выгляжу гадким утенком среди ярко раскрашенных щитов и плащей воинов.

Мы идем гуськом, временами останавливаясь, чтобы отереть пот. Никто не пьет, чтобы не появилось одышки. Несколько раз мимо проносятся стада зебр и газелей.

Но вот впереди в колючем кустарнике — пара львов. Едва завидев их, мы рассыпаемся цепью и окружаем хищников. Коноко узнает «нашего» льва — того, что в прошлом сухом сезоне убил двух буйволов у водопоя.

Проходит несколько часов. Совершенно бесшумно воины образовали довольно тесный круг. Однако львы по-прежнему не выходят из кустарников. Коноко велит ставить на ночь палатку. Мы ложимся, хотя никто в эту ночь не смог сомкнуть глаз. Часам к пяти утра Коноко послал две группы обследовать местность. Едва только загонщики начали шелестеть ветвями, львы выскочили из зарослей.

Есть у масаи и другие знаки — свидетельства проявленного мужества. Так, самый умелый охотник получает право носить убор из страусиных перьев.



Я взял копье и стал приближаться к первому зверю. Это был большой лев, не меньше двухсот килограммов веса. Он стоял метрах в ста от меня. Завидев человека, зверь отпрянул и медленно стал оглядываться, выискивая брешь в строю масаи, чьи тела, выкрашенные охрой, ярко сверкали на солнце. Строй воинов тотчас сомкнулся, так что свободное пространство оставалось лишь с моей стороны.

Львица, ворча, ушла назад в заросли, предоставляя мужчинам самим решать спор. Я знал, что окруженный лев может преодолеть расстояние до меня в два прыжка. Поэтому я пристально следил за зверем, лишь временами вытирая пот, застивший глаза. Взмокшие ладони я осушил пылью, зачерпнув горсть с земли. Затем, покрепче сжав буйволиный щит в левой руке и копье — в правой, я подпрыгнул на арене, хрипло (наверное, от волнения) прокричав: «Симба! Симба!»

Лев, явно нервничая, сделал шаг вперед, потом назад, но не нападал. Масаи подняли копья, отрезав льву все выходы, а я, не дожидаясь, пошел навстречу зверю. Неожиданно тот прыгнул, но в противоположную сторону, опрокинув дорогой моего друга Масаку, и помчался в саванну.

Я кинулся к упавшему. Тот лежал под щитом. Боже, с каким облегчением я увидел, что он поднимается с земли невредимый! Следы когтей глубоко отпечатались в шкуре буйвола, но на Масаке, к счастью, не было ни одной царапины.

Почти в молчании, выдававшем всеобщую решимость, мы пустились в погоню. Через два часа пути по палящей саванне мы вновь окружили зверя. Я вышел вперед, поднял камень и, размахнувшись, запустил им во льва. Мой снаряд попал ему прямо в голову и произвел нужный эффект. Лев зарычал, недобро глянул на меня и присел на задние лапы. Я понял, что сейчас он прыгнет.

Я поудобнее перехватил копье и прикрыл щитом грудь. Лев остановился в нескольких шагах от меня, полураскрыв пасть, тяжело дыша и как бы примеряясь. Я сделал шаг назад и поднял оружие. Зверь бил хвостом по земле, задние лапы его подрагивали. Масаи-загонщики перестали кричать. Наступила мертвая тишина.

Во мне не было страха, только гигантское напряжение. Я искал глазом место, куда должен бить, оттянул руку и изо всех сил метнул копье.

Зверь и копье встретились на полпути между небом и землей, в прыжке, и тут же я отскочил в сторону.

Лев закончил прыжок с копьем в груди и опустился на то место, где секунду назад стоял я. Тяжелый конец копья ударил оземь и еще глубже вошел в зверя. Он стал кататься по земле, рыча от ярости и боли, пытаясь дотянуться до меня лапой. Я осторожно отходил назад, вытащив из ножен свой нож — олалем.

Зверь полз за мной метров десять. За ним по-прежнему молча следовала группа воинов. Затем лев лег на бок, голова его упала; он был мертв.

И тогда раздались крики радости — то были мои друзья и наставники.

— Я — масаи! — закричал я с ними, пьянея от счастья.

Коноко протянул мне руку и сказал самое значительное, что он мог сказать, сказал торжественно и громко:

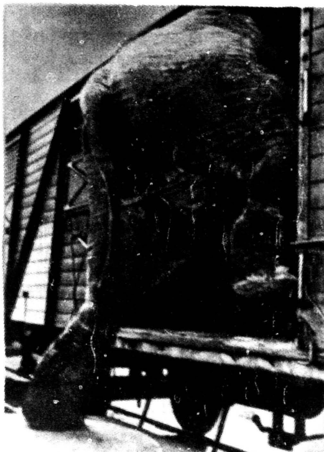
— Да, ты — масаи!

Перевел с французского М. БЕЛЕНЬКИЙ



ОТГРУЗИТЕ СЛОНА

Звезде Мюнхенского зоопарка, слону Бимбо, предстояло отправиться на гастроли в Гамбург. Дирекция забронировала ему просторный пульман, однако с погрузкой вышли трудности: Бимбо пришлось потратить полтора часа на то, чтобы протиснуться в вагон. Это топтание Бимбо перед открытой дверью дало сотрудникам зоопарка повод для веселья. Однако железнодорожникам Мюнхена, безнадежно выбившимся из графика, это стоило серьезных неприятностей.



ПОЮЩИЕ КОЛЕСА

— Антонио Санчес Досамантес — шестнадцать из двадцати возможных!

— Хуан Касаверде — семнадцать из двадцати возможных!

Каждый год в августе на стадионе гватемальского города Кесальтенанто устраиваются состязания «поющих повозок». Такие повозки делают только в Гватемале, их колеса скрипят и поют на десятки голосов.

Повозки одна за другой проходят километровую дистанцию, а знатоки (они-то, собственно говоря, и состязаются) должны определить по звуку, в каком районе страны сработана повозка.

Чемпионом страны в прошлом году стал Антонио Санчес Досамантес. Он, правда, отстал на одно очко от соперника, зато смог точно назвать не только провинции и округа, где изготовлены повозки, но и деревни, откуда родом мастера.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМА...

...установлен в школьном классе городка Ридуэй, что в графстве Кент, Англия. Когда ученики начинают громко болтать, тут же автоматически загорается красная лампочка, и магнитофонный аппарат голосом директора вещает: «Дети, тише!»

БИТВА НАД ТАРСУСОМ

Это случилось в Турции, недалеко от города Тарсус. На караван аистов, летевших в Африку, напали орлы. Разыгралась грандиозная воздушная битва: с обеих сторон дралось больше тысячи птиц, и только в конце второго дня решился исход битвы. Аисты победили. Правда, победа была нелегкой — 16 аистов погибло и около 200 ранено. Их враги пострадали больше: аисты убили 50 орлов, и до 300 хищников — исклеванные и полуощипанные — спаслись бегством.

Поединки между орлами и аистами в период перелета нередки в Турции, и, естественно, симпатии зрителей всегда на стороне аистов. Если бои разыгрываются в пределах досягаемости пули, люди начинают стрелять по орлам, и те разлетаются. Однако такой грандиозной воздушной битвы, как была в Тарсусе, никто еще не наблюдал.

В ЧАЩУ ЗА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Налоговое ведомство Замбии предложило племени натумби отсрочку на год в уплате налогов, если четыреста лесных жителей этого племени согласятся переселиться поближе к городу. Чем же вызвано подобное снисхождение? Дело в том, что сейчас налоговому инспектору приходится тратить столько денег на то, чтобы отыскать в джунглях охотников натумби и обложить их налогом, что это превышает поступления в казну.



МЕЧТЫ — ЧТО ДЫМ

Как рядовому пожарнику стать брандмайором? Пять пожарников из Буэнос-Айреса не стали ждать грандиозных пожаров, чтобы отличиться при их тушении. Они начали создавать пожары сами, дабы первыми отрапортовать об обнаруженном очаге огня. Однако суд их не понял. И вместо новой блестящей формы им пришлось надеть арестантские халаты.

МАКАКИ-ПЛОВЧИХИ

Принято считать, что макаки живут на деревьях, за исключением разве тех, которые обитают в скалах. Но мало кому известно, что на Яве некоторые из макак способны плавать и даже нырять на глубину до пяти метров. Тридцати секунд им вполне достаточно, чтобы поймать рыбу, поднять со дна ракушку или ухватить краба. Своего детеныша водоплавающая макака начинает приучать к воде с младых ногтей: едва ему исполняется семь-восемь недель, как мать сажает его на спину и устраивает водные процедуры.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

„Вокруг света“, 1886, 1890 годы

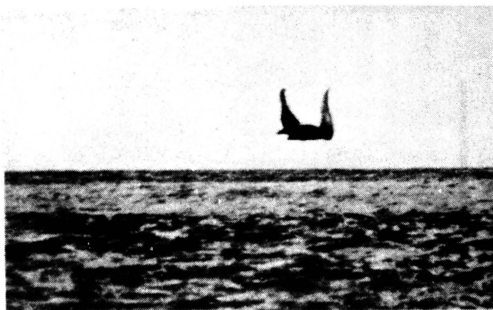
РУССКАЯ ПЕЧЬ У ТУРЕЦКОГО СУЛТАНА

Первый драгоман при Российском генеральном консульстве в Константинополе Степан Чахотин несколько времени тому назад выписал из Одессы изразцовую кафельную печь. Султан, как сообщает «Одесский Листок», узнав об этой печи и убедившись в ее прекрасных качествах, просил Российское генеральное консульство в Константинополе выписать для него такую же печь. Последняя была выписана консульством тоже из Одессы и поставлена во дворце русским печником, уроженцем города Костромы. Султан остался настолько доволен, что прислал своего адъютанта выразить благодарность Российскому генеральному консульству, причем вознаградил печника медалью «за искусство», орденом Меджидии 4-й степени и 50 турецкими лирами.

СМЕЛОСТЬ И НАХОДЧИВОСТЬ КРЕСТЬЯНКИ-ЭСТОНКИ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ НАПАДЕНИЮ РАЗБОЙНИКА

Близ города Феллина (Лифляндской губернии) произошло следующее происшествие. Возвращалась из города крестьянка-эстонка, выручившая за проданный товар рублей около сорока. На дороге ее вдруг останавливает какой-то злоумышленник, требуя с револьвером деньги. Последняя обещает исполнить требование нападающего, но просит его только, чтобы он сам вынул деньги, засунутые ею за чулок, пока она сдержит свою молодую беспокойную лошадь. Сребролюбивый злоумышленник скинул с себя плащ, бросил его вместе с револьвером на повозку и только что принялся было за разувание своей жертвы, как последняя другой ногой так сильно ударила грабителя, что тот на минуту совершенно потерял сознание. Пользуясь этим, находчивая женщина ударила по лошади, умчавшей ее из рук злодея. Приехав домой, крестьянка нашла в своей повозке револьвер и мужской плащ, в кармане которого были даже деньги в количестве свыше ста рублей.







ДВЕСТИ ЧАСОВ ОХОТЫ...

...завершились, наконец, удачей. Правда, это была фотоохота, но трофей ее даже более редок, чем лев, сраженный во время сафари: французу Ф. Гантесу удалось сфотографировать в море Флорес (Индонезийский архипелаг) прыжок гигантской манты. Двухтонная рыбина с размахом плавников-крыльев в четыре метра выпрыгивает из воды, чтобы при ударе о воду освободиться от паразитов.

С НАГРУЗКОЙ

В большинстве стран для получения зарплаты достаточно назваться и удостоверить свою личность. На Филиппинах этого недостаточно. Вот как происходит выдача жалованья государственным служащим на острове Миндоро. Почтенные чиновники, дабы получить доступ к кассе, должны явиться к начальству и предъявить оному... крысиные хвосты в количестве не менее пяти штук. Принесешь меньше пяти — останешься без зарплаты. Таким любопытным способом местные власти содействуют кампании по борьбе с крысами, расплодившимися на острове Миндоро.



А ШМЕЛЬ СЕБЕ ЛЕТАЕТ

После доклада одного из научных сотрудников ведомства авиации США стало ясно, что шмель летает противозаконно, вернее, по причине собственной неосведомленности... С научной точки зрения, говорится в докладе, шмель вообще не обладает способностью летать, ибо отношение площади поверхности крыльев к весу тела «неправильно». Шмель тем не менее летает.

ГЕРБ В КЛЕТКУ

Нынешней весной в Сиднее создан клуб, куда принимают только тех, чей предок попал в 1788 году в новооткрытую часть света, совершив воровство, грабеж или подлог. (В том году в Австралию были доставлены первые семьсот пятьдесят каторжников.)

В клуб вступило уже шестьсот человек, и заявления продолжают поступать. Членский билет клуба стал чем-то вроде дворянской грамоты. Бурные дебаты в клубе вызвал вопрос: принимать ли потомков солдат охраны? Принято решение: «Да, принимать, если кандидаты смогут доказать, что их предки были отправлены служить сюда в наказание».

КТО ПЛАТИТ ДЕНЬГИ...

Эта команда носит необычное название: «Всякие бороды». Ее футболисты «приписаны» к австралийскому городу Бромфилд. Имя команде дал местный делец, который, кстати, ее и содержит. От футболистов требуется, чтобы все они носили бороды, — иначе игроки на поле не допускаются. Более того, на поле должны быть представлены бороды различных фасонов. Зрителям предоставляется возможность изучать бороды всех времен и народов. И заодно помнить, что местные парикмахерские (а их-то владелец и есть меценат) всегда к услугам публики.

А НА СОБАКАХ ЛУЧШЕ!

Перед удивленными взорами парижан, под самой Эйфелевой башней, пронеслись сани в собачьей упряжке. Седок, остановленный полицейскими, назвался Рене Буржоном и возмущенно заявил, что в правилах уличного движения не сказано о том, что на собаках ездить запрещено.

Больше того, на Аляске, где мосье Буржон работает агентом парижской конторы по закупке пушнины, он привык ездить только так и не видит причины, почему ему следует менять эту привычку во время отпуска.



РУССКАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА ПО АФРИКЕ

Получены сведения о недавнем путешествии по Африке г-жи Гончаровой. Первая поездка в Северную Африку была предпринята ею года три назад по совету врачей для восстановления расстроенного здоровья. В первое время пребывания в Марокко здоровье г-жи Гончаровой не только не улучшилось, но даже ухудшилось. По чьему-то совету она обратилась к одному из местных знахарей. Лечение у него имело такое благоприятное влияние, что даже признаки болезни исчезли в самое короткое время. Это-то навело путешественницу на мысль заняться собиранием сведений об употребляемых в Африке врачебных средствах. Во время последующих поездок г-жою Гончаровой собрана весьма богатая коллекция врачебных средств, по преимуществу растительных. Коллекция эта, а равно и сведения о вошедших в ее состав средствах, будут представлены одному из петербургских медицинских обществ.

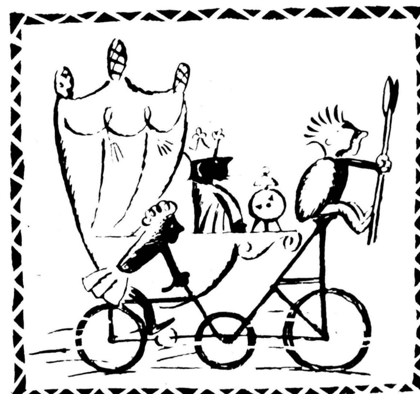
НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ СЛОВО

Немцы славятся своею исключительной способностью изобретать новые сложные слова. Характерным примером этой изобретательности может служить новый термин, придуманный союзом математиков Берлинского университета для обозначения комитета финансового контроля; вот это слово, в нем ни мало ни много 48 букв: VEREINSEIGENTHUMSVERWALTUNGS-DURCHSICHTSAUSSCHUSS.

ВЕЛОСИПЕД-МОНСТР

Король Марокко большой любитель велосипедов и трициклов. Недавно он приказал построить себе колоссальную машину-велосипед, имеющий назади вид коляски, а спереди на колесах устроены сиденья для рабов. Под алым суконным балдахином, украшенным золотыми кистями, катается марокккский государь на этом велосипеде по своим садам. Около него на небольшом консоле стоят часы, род инструмента для измерения расстояния, по которому король время от времени узнает пройденное пространство.

Рисунки Е. МОНИНА



ВОКРУГ СВЕТА

№ 11 НОЯБРЬ 1968

СОДЕРЖАНИЕ

На первой странице обложки: ЛЕНИНГРАД. У стрелки Васильевского острова. Фото В. САККА.

Оформление А. Гусева и Т. Гороховской

Рукописи не возвращаются. Технический редактор А. Бугрова

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Наш адрес: Москва, А-30, Сущевская, 21. Телефон для справок 251-15-00, доб. 2-29; отделы: «Наша Родина» — 4-09; иностранный — 2-85; литературы — 3-58; 3-93; науки — 3-38; писем — 2-68; иллюстраций — 3-16; приложение «Искатель» — 4-10.

Сдано в набор 5/IX 1968 г. Подп. к печ. 15/X 1968 г. А04679. Формат 84×108 1/16. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 12. Тираж 2 700 000 экз. Заказ 1858. Цена 60 коп.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

«ДВОРЦЫ» ДЛЯ ГОЛУБЕЙ

Эти причудливые строения безвестных мастеров на берегах Нила, напоминающие то древнюю крепость с бойницами, то богатый собор с нишами, то диковинный замок, прокаленный солнцем Африки, — эти строения всего лишь голубятни.

Возведение голубятен на земле феллахов вызвано суровой необходимостью. Следить за их сохранностью и поддерживать чистоту вменено в обязанность каждому члену деревенской общины, ибо нежное голубиное мясо идет в пищу, а пометом удобряют бесплодные земли забережья.

Приваживать голубя к жилью стали с незапамятных времен. У многих народов он был предметом культа. Его почитали как бога, у него просили помощи и милости.

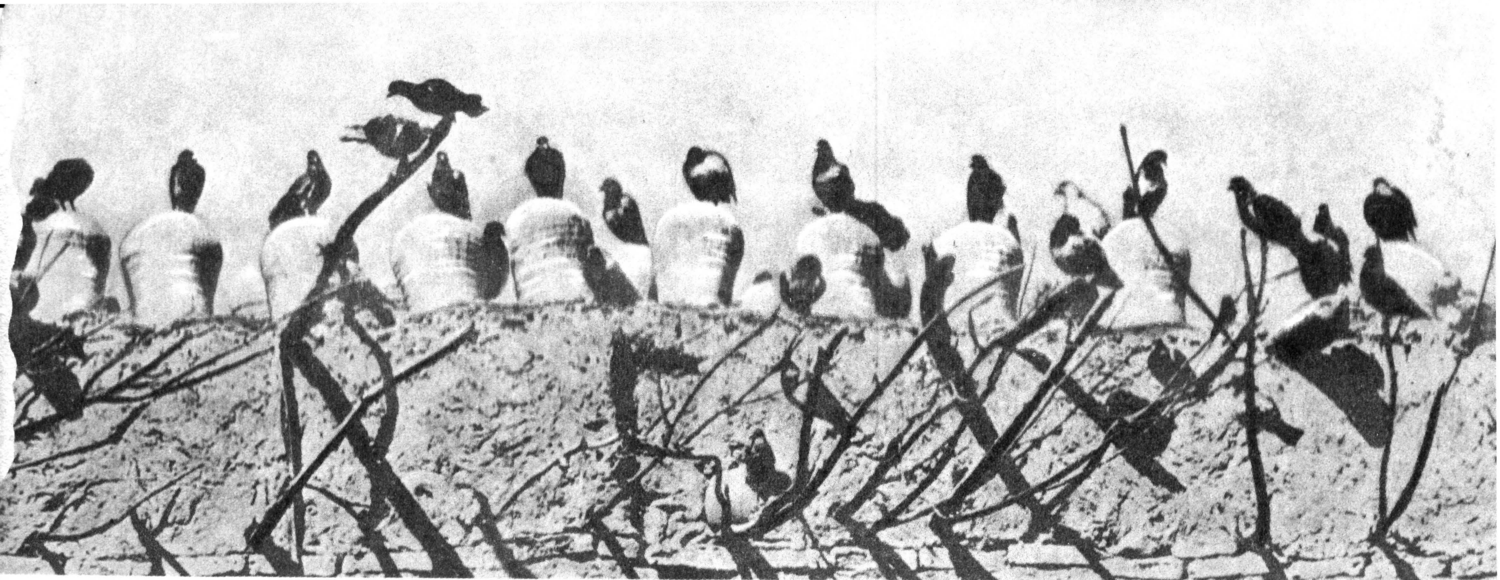
Манускрипты древнего Египта, писанные за три тысячи лет до нашей эры, доносят до нас первые сведения о домашних голубях. Изображения дворцов-голубятен, возвышающихся над крошечными хижинами людей, вырезаны на стенах гробниц.

Позднее голубей стали разводить ради приятной забавы да и в практических целях, используя удивительную способность голубей возвращаться домой издалека.

Голубь давно уже перестал слыть священным, но феллахи, почитающие традиции и поверья своих предков, любят эту ласковую, доверчивую птицу. Они и сейчас строят для нее удивительные по композиции дворцы и замки.

По праздникам жители деревни собираются у этих сооружений, отдыхают в тени и пьют ароматный чай с мятой.

Т. ФАЛАЛЕЕВА





Цена 60 коп.

Индекс 70142